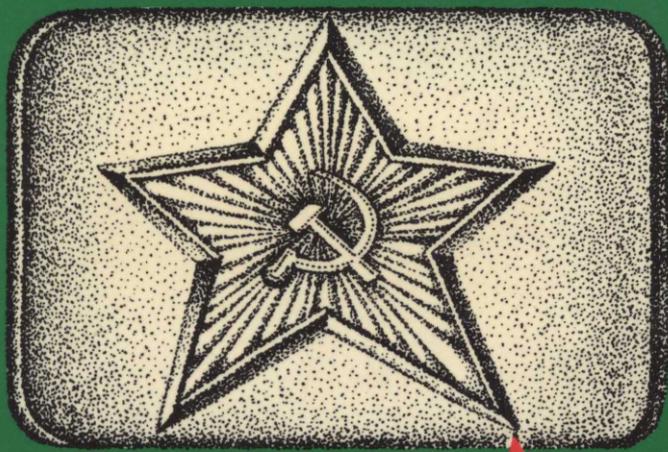


ВЛАДИМИР
РЫБАКОВ

ТИСКИ

АРМЕЙСКИЕ
ОЧЕРКИ





Владимир Рыбаков

ТИСКИ

Армейские очерки

С предисловием Георгия Владимова

ПОСЕВ

Обложка Вадима Филимонова

ISBN 3-7912-2005-5

**© Possev-Verlag, V. Gorachek KG, 1985
Frankfurt am Main
Printed in Germany**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уже как будто затихли споры, кому мы обязаны войною в Афганистане, кто из „верхушки” был инициатором вторжения („ястребы”), а кто этому противился („голуби”); после смертей трех генсеков и самому наивному ясно, что никаких разногласий на поднебесном „высшем уровне” не было и быть не могло, — и понемногу внимание мира обращается к главному участнику интервенции, к тому, без чьего согласия бессильны и Политбюро, и маршалы с генералами, и весь офицерский корпус славных наших Вооруженных Сил — к рядовому советскому солдату. Что же он собою представляет, этот парень с автоматом Калашникова, этот вертолетчик или пассажир БМП (боевая машина пехоты), или этот десантник в голубом берете набекрень, малая частица „ограниченного контингента”? Мы хотим знать — добр он или зол, милостив или жесток, храбр или робок, умен или глуп?

На эти вопросы предлагаемая читателю книга очерков и рассказов Владимира Рыбакова однозначно нам не ответит. Зато она даст ответ самый главный: он достаточно подготовлен к этой войне, равно как и к другим войнам такого рода. Он подготовлен всей своей армейской жизнью, скудным и отупляющим казарменным бытом, голодом, холодом и издевательствами — телесными и душевными.

Подготовлен так, что, пожалуй, не представит себе дальнейшего существования, если на ком бы то ни было не сорвет зло, скопившееся в его душе.

Владимир Рыбаков вошел в литературу своим романом „Тяжесть”, вполне оправдывающим это название, — ощущение давящей тяжести после прочтения не покидало читателя несколько дней. А прежде всего этой тяжестью был подавлен сам молодой автор; чувствовалось, что он ранен, ушиблен своей службой в дальневосточном гарнизоне, на границе с Китаем, если не на всю жизнь, то надолго. Эмигрировав на Запад, он вновь и вновь возвращается к той незабываемой молодости, ностальгическая тоска гонит его опять к горячей точке планеты — встретиться с вожаками афганского сопротивления, с советскими солдатами — пленными и перебежчиками. Его репортажи и очерки об этих встречах печатались в газете „Русская мысль” и в журнале „Посев”; знание дела и неостывающий интерес по праву захватывали внимание читателя. Рыбакову посчастливилось — увидеть свою, так хорошо ему знакомую, армию с другой стороны, а именно со стороны „предполагаемого противника”, на поверку — чернобородого муджахиддина, со старым ружьем или тем же добытым в бою „калашниковым”, виновного только в том, что он не покорился „старшему брату” с его непрошенной „братской помощью” и пожелал жить, как велит ему его вера и закон предков. Можно догадаться, что эта корреспондентская работа, на какие-то вопросы отвечая, но еще больше задавая новых, побудила Рыбакова вернуться к исходной черте и заняться исследованием с самых азов.

Вновь он проводит своего сверстника-солдата —

пусть под разными именами — по всем кругам армейского ада: от повестки из военкомата до отчаянного решения отряхнуть сей прах со своих ног, уйти, дезертировать. Завершается книга знаменательной сценой, где один из героев, взвалив себе на плечи своего обессиленного, разрушенного наркотиками друга, минуя советские патрули, уходит в никуда, „по направлению к Пакистану”.

Трагизм этой книги в том, что она, в сущности, ничем другим не может нас утешить. Не ждите, что бы такой солдат восстал с оружием против истинного своего врага, который и погнал его на позорную гибель, хуже того — на ничем не оправданное убийство. Нынешний российский солдат может лишь „проголосовать ногами” — к тому же, не так часто, заметим, не так дружно, чтобы эта бессмысленная бойня остановилась сама собой. И все же, по Рыбакову, это наилучший, или единственно возможный, выход.

Так русский писатель, в поисках решения, воспроизводит, в сущности, того дезертира Первой мировой войны, того замороченного, оглохшего, отчаявшегося солдата, воткнувшего штык в землю, которого так восторженно приветствовала и призывала к братанию с противником ленинская партия. Как выяснилось, этот солдат понадобился ей для собственных войн; при смене обстоятельств она его же, посмеявшегося принять собственное решение, карала и клеймила как изменника Родине. Это вьелось в нас, и даже писателям-гуманистам не кажется абсурдным; Валентин Распутин, автор повести „Живи и помни”, не позволяет своему Гуськову произнести „Не я предал, меня предали”, даже не предполагает, что его несчастный дезертир

мог бы предъявить и свой счет судьям — за убийство, накануне войны, лучших военачальников РККА и за преступно разрушенные укрепления на границе с Германией, и за предательский сговор пакт Риббентропа-Молотова, и за то, что немцы, сапогом раздавившие пол-Европы, были нам, оказывается, „братья по крови”.

Что-то, по-видимому, сильно подвинулось в сознании нового поколения российских литераторов — возможно, как раз благодаря афганской авантюре, — если Рыбаков своего героя не только не осуждает, но выстраивает всю цепь доказательств — в его оправдание. Сказать точнее, он оправдывает себя самого, имевшего все основания стать таким же полноценным советским оккупантом, расстреливающим в слепой злобе мирную деревню — с женщинами, детьми, стариками и бессловесной скотиной, поливающим дома и поля напалмом и разбрасывающим детские игрушки, начиненные взрывчаткой. „В нашей армии мало выполнить приказ, его надо выполнить не размышляя”... „из нас голодом делали будущих младших командиров Советской армии”... „такая уж у нас армия, что мерзавцам легче живется и служится”... „а этот вот Степанюк был странным, потому что верил, что везде можно добиться справедливости” — я не привел и десятой доли подобных сентенций, разбросанных по страницам книги, без особенного намерения эпатировать читателя. Напротив, этот путеводитель по армии, эта энциклопедия гарнизонной жизни отличаются эпическим тоном, спокойствием, даже как будто равнодушием письма; о самом страшном рассказывается просто, я бы даже сказал — „бесхитростно”, если б не знал, какими хитростями до-

стигается эта святая простота. Перед нами как будто обыденщина, едва ли стоящая внимания. Но эта-то обыденщина и формирует оккупанта.

Его приучают „родину любить” с самого начала, с принятия присяги — последующим ритуалом „солдатской присяги”, со снятием штанов и поркой по голый заднице ремнем с бляхой, так чтоб остался пылающий след. Это одновременно и „боевое крещение”, и забава для старослужащих, „стариков”, но не только забава: „... так как начальство спокойно напоминало старикам, что уедут они домой только, когда молодежь будет обкатана, то старики и старались”. Далее его, будущего беспрекошного оккупанта, калечат неделями в сыром бетонном карцере, вымучивают в бессчетных нарядах вне очереди, вымораживают в бессменных караулах, ему офицеры могут разбить лицо в кровь и его гитару — в щепки, ему запрещают слушать транзистор и задавать „провокационные” вопросы, ему забивают голову мусором политической информации и вытравливают все человеческое — каждодневным, хорошо разработанным, комплексом унижений. Как о пристанище души, об интимном, недостижимом, собственном, привыкает он думать о тумбочке, куда не полезут чужая рука и глаз воровать и читать письма. Даже и после смерти он принадлежит государству, армии — и потому подлежит хотя бы унижительному подозрению: разбившегося пилота продолжают уличать, что его самолет отклонился от курса „по политическим причинам”; солдат, которому разможило голову сорвавшимся стволом гаубицы, виновен в том, что забрызгал своими мозгами мундир, и „пусть не думает”, что его будут хоронить в новом...

Позвольте, но выпадают же и радости? О, разумеется, и всю их восхитительную прелесть сможет вполне оценить всякий, кто когда-либо жил в казарме. Покурить на посту, а особенно — на гауптвахте. Раздобыть самогону в близлежащей деревне, а заодно и „краткосрочной женской ласки”. Отведать наркотика — анаши или „планчика”. Да даже и на той самой политинформации пересидеть в тепле, когда на плацу стужа и ветер. К тому же, и письма приходят из дома — ну, это иной раз и не радость, это смотря по тому, как в самом доме. Наконец, в порядке компенсации, есть еще удовольствие для некоторых — писать доносы на товарищей, сей сладостный грех здесь не оплачивается возмездием „доносчику — первый кнут”, напротив — всячески приветствуется и поощряется особистами и политотделом. Вполне лагерная жизнь, лагерная психология, даже и фразеология лагерная — здесь „мантулят” (отлынивают от работы), делают „мастырку” (членовредительство), пьют „чифирь”, едят „пайку” или „рубон”, сама служба — „срок”, а конец ее — „освобождение”. Законные внуки ГУЛага, они встречаются с прошлым (которое, впрочем, продолжается) не так далеко от места, где служат и охраняют „священные рубежи”: уходящая невесть куда узкоколейка приводит любопытных к свалке человечьих костей, открытых для обозрения речным размывом.

После всего рассказанного, не то удивительно, что люди сходят с ума или уходят в тайгу на бронетранспортере или стреляются старым армейским способом — дуло засунув в рот — или открывают огонь по своим. Не то удивительно, что наш блестящий защитник вдруг испытывает безотчет-

ный позыв — стрелять в женщину, которую любил, которая от него родит ребенка и которой сам же он помогает бежать за границу. Удивительно другое — по-видимому, так велик в человеке запас изначального добра, что и при этом, недостойном его, собачьем существовании эти люди все же остаются людьми. Хоть изредка, но они отваживаются на робкий протест, пусть почти никогда не достигающий цели, и даже на протест опаснейший в армии — коллективный. Несмотря на все усилия разобщить их — ибо знает начальство, что „над воинским подразделением можно властвовать, пока солдаты духовно разобщены”, — они все же связаны друг с другом некоей примитивной солидарностью, годной не только на то, чтоб передать арестованному на „губу” курево или сахар, но и выступить за безвинно обвиняемого открыто, на собрании. Те же самые солдаты, смачные похабники, любители скабрзных анекдотов, неожиданно тепло и с мужским целомудрием относятся к любви своего товарища к вдове офицера — поди ж ты, гарнизонные „Ромео и Джульетта” с счастливым концом! Один из „сквозных” героев, Малашин, излюбленный автором персонаж, не думая и двух минут, усыновляет чужого изголодавшегося ребенка, а заодно и берет в жены его пьющую мать — „подарил жизнь двум людям”. Не всем им, подобно капитану Шаповаленко, „страшно понимать”, иные так очень силятся понять и достаточно открыто выражают „глубокое, всеобщее недовольство” жизнью. О бунтарях — том же Малашине или „Русаке” Андропове — автор повествует с особенным удовольствием и как бы с удивлением. Не сочтем случайностью, что именно для этих его героев так тщательно выстраиваемые

крест и молитва и само понятие „Бог” суть именно понятия, а не знаки преходящей моды. По-видимому, на этих людях покоятся надежды автора на наше освобождение и выздоровление. Не станем спорить, насколько эти надежды основательны, но можно согласиться, что зло, учиняемое сейчас над этими людьми, не пройдет даром, не рассеется бесследно в народной памяти. Особенно, если тому поспособствует наша литература.

Далекая финская война, такая короткая по терпешним меркам, как бы и не война, а, если последовать газетным штампам — „кампания с белофиннами”, — однако ж, не стерлась, не перекрылась войной куда более кровопролитной и трупобильной, да наконец и справедливой; многие годы спустя не простил ее, не мог простить и забыть Александр Твардовский, отождествляя себя, как истинный поэт, с безвинно и бессмысленно загубленным солдатом:

...как будто, мертвый, одинокий,
как будто это я лежу,
примерзший, маленький, убитый
на той войне незначительной
забытый, маленький, лежу.

Можно лишь удивляться, как из-под пресса еще сталинской цензуры сумел поэт дать той войне, или „кампании”, ее настоящее название — не слышится ли нам явственно за словом „незначительная” другое слово — „бесславная”?

Такой же, только много хуже, останется в нашей памяти и война афганская. И когда эта позорная страница нашей истории будет перевернута, в об-

винительное заключение, в воздаяние по делам их всем ненасытным „ястребам” вкупе с воркующими „голубями”, среди многих свидетельств ляжет и эта книга, которую читателю предстоит прочесть.

Георгий Владимов

ПОВЕСТКА В АРМИЮ

Сергею Сергеевичу Сажину повестку принесла дворничиха в пять с половиной утра. Дверь отворила мать и расписалась где следует. Увидев в спокойных руках матери красноватую бумажку, Сергей вздрогнул. Остатки сна исчезли, как-будто его и не было. Попытался вновь уснуть, но не получилось. Мысли вертелись, как в калейдоскопе. И все вокруг детства. Старые огромные пилотки на маленькой голове, двор, деревянные автоматы и рты, оружие "тра-та-та", "гад, я тебя убил", "врешь, промазал". И позже мечта стать летчиком, моряком, космонавтом. И как эти мечтания незаметно растворились во взрослеющей жизни.

Одеваясь, Сергей почувствовал во рту горечь. Он тогда еще и не подозревал, что ближайшие его годы будут наполнены желанием спать, а этот неожиданный привкус во рту станет обычным до незаметности.

Пощупав повестку, испробовав ее на крепость, Сажин заставил себя подумать: "Ну, пришло — подумаешь. К каждому приходит". Но тут довольно-таки подло вынырнула сама собой иная мысль: "А Васька Румянцев? Я хоть по конкурсу не прошел, а он вообще провалился на первом экзамене. И Ваську не берут. У него пахан в Горкоме работает, шишка не на пустом месте. Меня берут, а его, Ваську — нет, его, здоровяка (молотом занимает-

ся), комиссовали. И он на следующий год в университет пролезет.

На самом деле Румянцев мог вполне законно провалиться и в следующем году, но Сажину было отрадно думать, что он непременно пройдет по конкурсу. Почему? Он не задавал себе этого вопроса. Было приятно и злорадно — и все.

До ухода на сборный пункт оставалось еще две недели. За завтраком мать как-то по особому смотрела на сына. Спросив его, пойдет ли он на завод, она вдруг обняла его голову, и, отпустив, быстро отвернулась. Но сын не думал о боли и тоске матери. Прихлебывая чай, он вдруг поймал себя на мысли, что забыл о заводе. Завод для него как бы уже ушел в прошлое.

Цех встретил Сажина привычным шумом. Сергею казалось странным, что ему теперь не нужно будет торопиться к станку, а в перерыв — бежать в столовку занимать очередь. Начальник цеха, внимательно разглядев повестку, значительно произнес: "Так. Служить в рядах наших вооруженных сил — почетный долг каждого гражданина. Идите "расформляйтесь". Завкадрами опять будет горланивать о текучести кадров".

Только тут Сажин почувствовал, что стоит на пороге неизвестного ему мира... Армия, вооруженные силы, войско, как еще говорят старые люди. Жажда необыкновенности вдруг заиграла в Сажине. Но вместе с тем он увидел то, чего давеча не заметил: тоскливые глаза матери. Уверив себя, что скажет ей вечером много добрых слов, Сергей начал носиться по заводу с обходным листом. Ему везло: к концу рабочего дня обходной лист был готов, даже библиотечарша оказалась на месте. Подождав ребят из

цеха, пошел с ними в закусочную. Все смеялись, кроме Сажина, все вспоминали разные разности, кроме него — Сажина. Сажин только бодрился. Ребята хлебнув ерша, снисходительно говорили: "Ничего, после второго года растолстеешь. А ты по-лы умеешь ночью драить? Помни, в армии закон: не умеешь — научат, не хочешь — заставят. И учти, не перечь старикам, скажет тебе старик почистить ему сапоги — делай". А Сажин все бодрился: "Почем вы знаете, я может сам хочу служить, может совесть мне велит. А тому самому старику я в морду дам!". Каждое его слово вызывало хохот. Один сказал Сажину на прощанье: "Забудь о красивых словах. Армия — это вся гадость гражданки в квадрате". Сергей сказал: "А дружба?". Парень ответил, что, вообще-то, ее там нет, но когда она все-таки есть, она — сильна. И добавил: "После поймешь. Все почувствуешь. На своем горбу".

В тот вечер Сажин пришел домой злой и пьяный. Его мучило от водки и мыслей сегодняшнего дня. Ночью ему снились кошмары.

В общем, призывнику положено пить, много, долго и упорно. Почему? Обычай? Страшно? Жалко чего-то? Опять вопросы! Пьешь — и все. Время летело. Утром головная боль, похмелька. Приходили знакомые ребята, уже отслужившие. Выпив, начинали дружески издеваться над Сажиным. Приходили и девушки. Сергею казалось, что он любит их всех, искренно и пылко. Одной он сказал: "Поженимся", и получил ответ: "Когда вернешься из армии".

На душе постепенно становилось все пасмурнее. Сергей словно повис между двумя мирами. От мира, в котором пребывает гражданская жизнь, он

как бы уже отошел, а к новому миру — миру армейской жизни еще не пришел. Даже к матери чувствовал легчайшее отчуждение... Он так и не сказал ей ласковых слов. Возможно, Сергей хотел бы остаться на гражданке, но он как бы уже перестал быть ее действующим лицом. Мелкие несправедливости, с которыми он сталкивался на работе, после работы теперь еще острее, чем раньше кололи его самолюбие. Ему было почти от всего горько.

Мир военной службы был от Сергея, в сущности, еще где-то за пределами постижимого. Ему хотелось, чего таить, подержать в руках автомат, пострелять. Было любопытство. Но оптимизма не было — скорее он походил на человека, ожидающего подвоха, обмана.

В последний вечер друзья и приглашенные девушки, как и часто это бывало, пили, ели и танцевали. А Сажин пребывал в каком-то странном состоянии. Окруженный со всех сторон людьми, чувствовал страшное одиночество, и никак не мог напиться. Когда все ушли, он еще долго сидел за грязным после попойки столом, и глядел в одну точку.

Под утро Сажин простился с матерью и вновь не разглядел ее тоскливых глаз.

Во дворе военкомата уже ворчал ветхий автобус. Он должен был вести Сажина к новой жизни. Сажин приободрился, и опять почувствовал, что вот-вот появится во рту этот горький привкус.

ТРЕТИЙ ЭШЕЛОН

Такая вот шутка в народе ходит: встретились на гражданке двое только что демобилизованных. Ну, то да се, и естественно вопрос — как там у вас с рубоном было, с пищей значит? И ответ: "Черт, пойдем-ка куда-нибудь, а то жрать захотелось".

Когда я демобилизовался, то и меня встретили этим вопросом. Еще не сформулировав ответа, я вдруг ощутил в желудке безвоздушное пространство.

Я не берусь говорить за всех. В разных частях кормят по-разному; в общем, конечно, плоховато... хотя и тут немало оттенков. В армии, насколько мне помнится, личный состав кормят по так называемым трем эшелонам. Первый — это ракетчики, подводники и разные другие привилегированные рода войск, например, какие-то специальные войска, как-будто внутренние, их обычно называют "краснопогонники". Так вот, им и кофе дают, и масла от пуза, а раз в неделю даже яичницей балуют, хотя за последнее ручаться не могу. Что ракетчикам такое благо — это понятно. Но за что краснопогонникам? Один сверхсрочник, подвыпив, рассказывал: "В мое время эти внутренние войска назывались просто карательными. Не понимаешь?..

Когда демобилизуешься, спроси об этом своего отца, если только он к ним в свое время в руки не попал. А ежели к ним закатился, — то и спрашивать, следовательно, тебе будет не у кого".

Вторым эшелонам идут мотопехота, артиллерия и прочее. Тут тебе и кусок съедобного мяса попадет раз в неделю, бывает и раз в месяц. И кашу

дают настоящую — с калориями. Если не мечтать, то может, все и обойдется, и на гражданку вернешься с целыми кишками и почти здоровым желудком.

Третий эшелон — это, в общем, только неукомплектованные части, стройбаты и прочие.

У нас в учебсвязи было три роты дальней связи и одна учебная. Водопровода не было, ларька тоже. Признаюсь честно, защитник родины представлялся мне раньше хотя бы сытым, тем более защитник социалистической родины. Может, мы и идем к коммунизму, но я об этом сразу забыл, когда очутился в солдатской столовой. Первым инстинктивным движением было зажать нос — так сильно ударило в лицо помойкой. Но тут раздался злорадный голос старшины роты Владимира Владимировича Милосердова (нарочно такую фамилию не придумаешь): "Смирно, сволочи. Я вас научу родину любить".

Был конец шестидесятых годов. Неподалеку — за границей — угрожали китайцы, а из нас голодом делали будущих младших командиров Советской армии. Утром, топя строем на завтрак, горланя песню о том, что ты не кто-нибудь, а орел, — все думаешь о том, будут ли у тебя сегодня эти проклятые три кусочка сахара, или два, или, хотя бы, один. Или его у тебя на глазах заберет замкомввода или старик из другой роты. И положенные 10 граммов масла. Не будет ли и сегодня того же, что вчера? Ты сидишь, запихиваешь глубоко-глубоко ненависть и глядишь, как человек вот с такой же, как у тебя, головой, руками и ногами преспокойненько размазывает по твоей хлебной пайке твое масло. И чувствуешь, будь твоя воля — застрелил бы этого гада. И только одного не знаешь:

что через год тебя превратят, быть может, точно в такого же сержанта. И тебе будет даже смешно, что вот любой салага с удовольствием бы тебя застрелил, если бы мог. Но не может. А ты, конечно, будешь думать о том, что с тобой и похуже делали. Да, с волками жить — по-волчьи выть. Так, кажется, говорит старая пословица.

ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА

В Советской армии национальный вопрос приобретает особенную остроту. Люди разных национальностей, хошь, не хошь, а соприкасаются, спят под одной крышей, иногда — койка к койке. На первом ярусе, к примеру, дрыхнет грузин, на втором — армянин.

Устав, говорят, для всех один. Это точно — для всех, но каждый изворачивается, как может. Считается, например, что грузинам особая "лафа". Не знаю, как где, но у нас, на Дальнем Востоке, о грузинах ходили дурные слухи. К примеру, приходит с поста в караульное помещение Витька Буковский. Садится, протягивает застывшие ноги к буржуйке, растирает неподвижное от мороза лицо, и когда обретает дар речи, то ругает не дырявые валенки, не дурной устав, заставляющий часового в тридцатиградусный мороз с ветром стоять два часа без передышки на посту, а солдата Садко Заминадзе, потому что тот устроился на пост на губу, которая отапливается. Садко знай гуляет себе по коридору и в ус не дует. Тепло ему, светло и мухи не кусают.

А почему? Потому что его батя, старьй Заминадзе, посылает сыночку ежемесячно сотню рубчиков и лейтенант Бочко, начкар (начальник караула значит), задолжал Садко не только по солдатским, но даже лейтенантским понятиям довольно много. Комвзводу в глуши какие радости? Кроме водки и баб — никаких. Вот и налегает он на то и другое... Грошики-то текут и текут... Да и старухе-матери, что в деревне осталась, нужно что-то послать. А всего-то у него 160—200 рублей жалованья в месяц. И тут вот подворачивается этот Садко Заминадзе. И оказывается лейтенант Бочко в долгу по самые уши. И привыкает уже брать. И платит ему поблажками, посылает в лучшие командировки, ставит в карауле на самый легкий пост, а если тот потребует, то постарается лейтенант, чтобы Садко этого сделали каптерщиком или почтальоном. И появляется зависимость Бочко от Заминадзе. И Бочко про себя называет Садко грузинчиком, нацменом, макакой, и всю накопившуюся злобу выливает на других, чья фамилия кончается на "дзе" или "швили". И не попадайся ему тогда грузин под руку, беда будет, загоняет нарядами вне очереди. Вот так и становится простой украинский парень Бочко диким националистом.

И Витька Буковский тоже. "Вот, — говорит он, — я мерзну, потому, что русский. Мы, мол, большие, широкие, делай, мол, что хочешь, а с нас все равно, как с гуся вода. Так? Так. А у них, у грузинов, деньги есть, апельсины продают по шесть рублей килограмм... А мы, дураки, покупаем... Ненавижу их, грузинов,.. морду ему набью, этому нацмену". И тут Буковский оборачивается к парню, собирающемуся идти на холодный пост, и говорит ему: "Сер-

го, это я не о тебе говорил, ты для меня не грузин, ты друг... понимаешь?" Серго отвечает: "Не понимаю", и выходит на мороз. И часто завязывается в тугой узелок вражда.

Но должен сказать, что на Дальнем Востоке, вернее, в дальневосточном военном округе, особая неприязнь к украинцам. Во-первых, местное население помнит, как в сталинские времена сосланные в Сибирь и на Дальний Восток украинские кулаки прибыли к ним, и очень быстро не только устроили свое собственное хозяйство, но далеко перегнали местных. Они были более бережливые, или на русский взгляд — более скупые. Более старательные — а для русских это было выслуживанием. Многие из них становились председателями колхозов. Их ненавидели. "А что, председатели из хохлов, — говорил мне местный мужик, — им-то было нечего терять, вот они из нашей шкуры и выколачивали план и тот хлеб щедро поливали нашей кровью. Мои дети голодали, ихние — нет".

Русскому всегда легче сваливать вину на чужого. Сам русский, сам сваливал. Но в тех частях, в которых я служил, почему-то почти весь сержантский состав был из украинцев. И самые свирепые старшины, сержанты, младшие сержанты, ефрейторы были из украинцев. Они непременно хотели вернуться домой с лычками на погонах. Обязательно, чтобы девушки и родители получили их фотографию по полевой почте, фотку бравую, сержантскую. Они понимали: у кого власть, тот сам не работает, а заставляет работать других. Именно из-за всего этого в частях в 1966—1969 годах хохол — было словом бранным; если русский называл русского хохлом — могла выйти драка.

ИНЦИДЕНТ

Это было в 1967 году. Мое отделение возвращалось из караульного помещения. Усталостью на плечах висели сутки караульной службы. Автомат, легкий во время инструктажа, теперь давил и давил. Хотелось забросить его в кусты. А ноги все топали, и словно им в такт желудки пели грозные марши. Каша, которую приносили в караулку в термосах, остывала еще в пути.

Знаю, на гражданке все это может показаться чепухой. Но разве дело только в жратве? Стоишь на посту, защищаешь неприкосновенные границы социалистической родины, тебя прошибает мороз с ветром и желтый брат в любое время ночи может подползти к тебе, всадить штык в спину, а когда возвращаешься, как плевков в глаза, тебя встречает холодный слипшийся кусок кашеподобного вещества в грязной миске. Неужели это все, чего ты удостоился?!..

Сразу по прибытии в казарму, не дав нам толком сдать патроны дежурному по роте, загнали всех в ленинскую комнату под светлые очи замполка по политической части подполковника Раевского.

”Товарищи, — сказал он, — вам выпала большая честь. Китайские ревизионисты все же продолжают выплачивать нам свои долги. На станцию прибыл их эшелон, который вам надлежит разгрузить. Вести себя достойно. Провинившиеся будут сурово наказаны”.

Через час мы уже были на безымянной станции. Пока выгружали ящики на перрон, к нам подошли человек двадцать китайцев. Все были опрятные, худощавые, одинаковые. У нас на ушанках были

звезды и у них — тоже. Но они были без погон. Их отсутствие на плечах нас забавляло. "Ходят, как подследственные, — говорили мы. А они, невзирая на наши ухмылки, цепляли нам на гимнастерки значки с изображением Мао. Короче — занимались пропагандой, будто нам своей не доставало.

Все бы и окончилось тихо-мирно, после работы старший офицер собрал бы к себе в полевую сумку значки и дело с концом, если бы не прокатилась весть, что в этих самых ящиках тушонка. Через пять минут якобы случайно, один ящик упал и раскололся. Китайцы бросились подбирать банки. Началась свалка. Кто-то под шумок врезал одному китайцу под дых. Дескать, не трогай банки с тушенкой — не твои уже. Офицер наш, красный как партбилет, от волнения никак не мог дозвониться в часть. Все двадцать китайцев были избиты, а пять банок тушонки — сожраны в миг.

В части это дело замяли. Зачинщиков не искали, потому что зачинщиками были все. Вечером кто-то из нас сказал в раздумье: "Их было двадцать, а нас всего двенадцать, и мы их побили".

Ему кто-то ответил, что китайцы здесь ни при чем. Все дело в тушонке.

РАЙ И АД

Лето на Дальнем Востоке прямо скажем — противное. Солнце, поднимаясь, не светит, не греет, а только душит. Не служба, а парилка. По части начинают ходить слухи о недостаточности кислорода в атмосфере. И действительно, воздух как

бы превращается в мокрую теплую массу; глотаешь ее и никак не можешь наглотаться. То ли дышишь, то ли нет. Салаги (первогодки) начинают покрываться чирьями, иногда от головы до пят. И странно все это: синее небо, красивое солнце, а под ними — бредут к полковой санчасти истекающие гноем ребята.

Наша полковая санчасть была адом для больных и раем для симулянтов. В некоторых воинских частях практиковалась так называемая "мастырка", к которой, кстати, прибегают в лагерях и тюрьмах, а также и на гражданке. Дело простое: берешь одной рукой столовую ложку потяжелее и lupишь ею по тыльной стороне руки. Постепенно сосудики лопаются и образовывается опухоль. А если сверху еще ударить раза два кедом, то разукрашенная рука даст тебе недельку безделия. Диагноз: ушиб. Не придерешься. Некоторые курят пластмассу, чтоб сработать затемнение легких или что-то в этом роде. Бывает, что иной возьмет и полоснет себя по руке бритвой. Настолько вдруг опостылет служба. Бытует еще и забава, прозванная у нас "смех да грех". Это, значит, симуляция аппендицита. Глотнешь побольше масла, застонешь, когда надавят пальцами куда надо — и глядишь тебя уже везут в госпиталь. Там чирик-чирик и нет аппендицита. Пока валяешься в палате, нагуливаешь жирок, влюбляешься в медсестер (в одну всегда влюблены разом человек сто). После выписки из госпиталя живешь надеждой об отпуске. Иногда сбывается. Всякое случается, когда человек надеется...

В частях, где я служил, никто никогда не упрекал за притворство. Каждому понятно: лучше валяться на койке санчасти, чем в сотый раз ко-

пать землю. Большинство этим не занималось, не в характере как-то было, но осуждать не осуждали.

Как-то у молодого парня, салаги Процева, заболела голова. Ему и девятнадцати не было, мокрогубый был, жил, можно сказать, согласно нашей конституции, то есть мечтал о любви и все такое прочее. И вот пошел этот Процев в санчасть к майору медицинской службы Будному. Майор был в войну фельдшером, даже глаз потерял. Может быть, был хорошим человеком. Может, и остался им. Но как Будный добрался до майора — об этом разве что Бог знает. Во всяком случае, ревматизма от воспаления легких он отличить не мог. Да и трезвым никогда никому не показывался. И вот приходит к нему Процев, и он сует ему под мышку градусник. Потом, глянув своим единственным глазом на ртутный столбик, говорит пареньку: "Пшел отсюда, сволочь".

Двое суток Процев стонал в казарме. Пытался написать письмо матери, но не смог — мешала боль и мысли путались. По ночам не давал никому спать. На третьи сутки он стал даже орать. Орал до тех пор, пока дежурный офицер самолично не отвел его в санчасть. Будному деваться было некуда. Он выписал одного симулянта или больного (кто разберет) и принял Процева. Дал ему аспирин. Последующие два дня паренек выл так, что его вынуждены были увезти в военный госпиталь. Оказалось, виной всему был укус энцефалитного клеща. Аспирин в таких случаях противопоказан. Через несколько дней Процев умер. Письма матери, проводившей его еще недавно защищать родину, он так и не написал.

А вот что приключилось с моим другом по гражд-

данке Высоцким, который служил в Канске в авиационном полку. В один прекрасный денек он был не в состоянии обслужить самолет. Причина — непереносимые боли в спине, от которых начинаешь кусать губы. "Ничего, — сказал ему с усмешкой старшина, — я тебя вылечу, еще не таких, как ты, вылечивал". И дал Высоцкому от имени командира полка десять суток гауптвахты. Повалялся мой друг еще десять суток на цементном полу, и уже не вышел из камеры. Вынесли его оттуда скрюченного. Через три месяца комиссовали, дали инвалидность... на всю жизнь.

А было еще, что пришел к Будному парень, лицо которого буквально истекало гноем — чирей на чирье. И что же сделал майор? Новокаиновую блокаду? Переливание крови? Подумал о том, что у парня может образоваться общая интоксикация кожи, от которой и умереть недолго? Нет. Он сказал: "Ну и рожа". Затем налил зеленки в склянку и выплеснул зеленку парню в лицо. Я сам все это видел. Парень стоял словно онемевший. На его лице слезы смешались с гноем. В казарме, узнав о "майорской шутке", многие смеялись.

"Над кем смеетесь? Над собой смеетесь", — сказал я, но не думаю, что кто-нибудь меня понял.

"ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА"

По неписаному уставу, солдаты первого года службы, как только дневальный заорет подъем, вскакивают; ребята второго года — медленно при-

поднимаются; старики — только приоткрывают левый глаз. Затем молодые делают физзарядку, а старики устраивают перекур. Так начинается утро. Потом договариваются: сегодня я съедаю свою и твою порцию, завтра ты мою и свою. Ну, а после завтрака всех сгоняют в ленинскую комнату для политинформации, чтобы советский солдат знал, о чем думать, знал, как думать, и знал, кто его друг, а кто его враг.

”Может, это и не моего ума дело, — говорил старик Беленьков, — но я хотел бы все же знать, почему наши китайские братья, которых мы вооружали и всячески лелеяли и которые, если не ошибаюсь, строят, как и мы, коммунизм, хотят, к примеру, продырявить мою шкуру. Ты мне скажешь, что они хотят Сибирь, а с ней и мою шкуру. Это для маленьких детей. Вчера — братья, сегодня, видите ли, их вдруг припекло: Сибирь, Сибирь. Нет, тут дело в другом. Скажем в гегемонии. Знаешь это слово, гегемония? Вот ради этой самой штуки мы друг другу горло и перегрызаем. А капиталисты, скажем, американцы, с французами, вовсе и не собираются воевать. Торгуют себе. А нам твердят — хищники”.

Так вот этот Беленьков, несмотря на три года упорной политинформации, или по нашему политдолбежки, не разучился рассуждать. Правда, благ ему это не принесло. Пагубная это привычка для советского человека вообще, а для советского солдата, в особенности — рассуждать. Есть у тебя замполит, есть парторг, есть солдатская книга ”На страже Родины”. И, ”саморазвивайся”, доводи себя до кондиции, а если не можешь — научат, не хочешь, что же — заставят. А если... короче, помалки-

вай, как говорится, в тряпочку. Большого в наши годы от тебя не ждут.

А вот Беленьков, видимо, не хотел доходить до кондиции. Есть у нас такие люди: на вид прост, а мозги ему не запудришь.

В одно июньское утро 67-го года на политинформации вдруг объявили, что израильские агрессоры напали на свободолюбивый арабский народ и что арабские вооруженные силы изгоняют врага с родной земли. Вначале особенного впечатления это известие ни на кого не произвело. Да и почему на советского парня, родившегося в Кагуле или Житомире и несущего службу на китайской границе, должна как-то действовать война, начавшаяся где-то у черта на куличках? Не удивил никого и тот факт, что арабы сразу стали нашими близкими друзьями, чуть ли не братьями. Такое уже не раз случалось.

А Беленьков, когда в этот день мы с ним вышли после отбоя покурить, стал вертеть носом и морщить лоб. Потом изрек: "Тут что-то не чисто, арабов миллионов сто, целая куча. Получается десять арабов на одного израильянина, к тому же арабов вооружили мы. Сделают они из Израиля компот, это как пить дать".

Через несколько дней пришли известия, что маленькие бьют больших. Днем выстроили на плацу весь личный состав полка. Комполка полковник Сергеев по кличке "горбатый" сказал: "Не буду говорить вам разные словеса. Мы — солдаты. На Ближнем Востоке идет война. Приказано набрать добровольцев — помочь арабам. Так что, кто хочет быть добровольцем — шаг вперед".

Шагнул весь полк. Во-первых, попробуй не шагнуть: не увидишь ни командировок, ни отпуска, ни

увольнений. Во-вторых, обвинят в трусости, в-третьих, вообще интересно и как-то возвышенно шагнуть вперед, назвать себя добровольцем. В-четвертых, все уважали Сергеева, человека, провоевавшего всю войну на передовой и не любившего замполитов (под хмельком прямо называл их болтунами). И в-пятых, в глубине души никто не верил, что попадет с китайской границы на египетскую.

После этой истории интерес к войне сразу вырос. Все, почти без исключения, были на стороне Израиля. "Дубье эти арабы, — говорили ребята, — побросали такую технику, нашу технику. Так им и надо". Кроме того, на Дальнем Востоке почти нет антисемитизма. Так, во всяком случае обстояло дело в конце шестидесятых годов.

Но вся беда была в том, что парторг полка подполковник Рубинчик был по национальности еврей. Многим претило, что на политзанятиях он зло ругал израильтян, то есть в конечном счете — своих. Знали, конечно, — он работу выполнял, но все равно находили во всем этом что-то нечистоплотное. И вот однажды, это было, кажется, на шестой день шестидневной войны, Беленьков не выдержал и ядовитым голосом задал на политзанятиях вопрос: "Товарищ подполковник, а почему все же эти проклятые израильтяне напали? Их же не так много этих израильтян! Эти мерзопакостные израильтяне должны были бояться свободолюбивых и многочисленных арабов". Раздался громовой хохот. Рубинчик, пролепетав какую-то несуразицу об американском империализме, вышел.

Вечером Рубинчик нашел Беленькова и сказал ему с глаза на глаз: "Ты должен демобилизоваться

в августе, а? Так вот, слушай, что я тебе скажу и запоминай: ты демобилизуешься последним и уедешь последним эшелон! Долго будешь обо мне помнить!”

Парторг сдержал свое слово: Беленьков демобилизовался не в августе 1967 года, а в феврале 1968.

”МОЛЧИ — МОЛЧИ”

Во всех воинских частях Советского Союза существует человек, которого либо совсем не знают, либо боятся — середины нет. Это — начальник особого отдела. В нашем полку начальником особого отдела был Петр Васильевич Бромкин, по прозвищу Молчи-Молчи. Физиономия у Молчи-Молчи была самая что ни на есть добродушная: толстоватый нос, спокойные глаза, кряжистая фигура... Только ходил он больно уж бесшумно и был чересчур вежливым. А когда офицер вместо обычной ругани начинает говорить с солдатами вежливо-ледяным тоном, солдату становится не по себе, солдату бывает страшно. Но Молчи-Молчи — особая статья. Начальник особого отдела не похож на другое начальство. Он, если можно так выразиться, лицо материально незаинтересованное. К примеру, командиру роты либо батальона совсем не выгодно, чтобы его подчиненный попал в дисциплинарный батальон или под военный трибунал. ”Куда смотрел?” — скажет командиру батальона командир полка. ”Почему не воспитывал?” — спросит командира полка командир дивизии. Комполка хочет спокойно выйти на

пенсию, капитан, командир роты, хочет получить майора, молодому командиру взвода, лейтенантику, два года тому назад прибывшему в часть, хочется не только стать старшим лейтенантом, но и чтобы его перевели с Дальнего Востока в Европу или хотя бы поближе к Европе, к тому же ему надоела деревня, военные городки, он в город хочет. И что же, всем им отказаться от всего этого? Ведь у воинской части есть своя репутация, да и не принято как-то выметать сор из избы. И, как говорится, офицер тоже человек, он тоже может подумать: "Ну, посадим парня, ну, отсидит он положенное, ну, выйдет... Все равно ведь жизнь его останется поломанной. Да и не со зла он все это совершил, а по глупости".

Так иногда может думать офицер, если еще не ожесточился.

Вот и получается: провинился солдат, а начальство, не сговариваясь, молча, поступает так, что не попадает, все-таки, парень под суд. Дадут ему суток десять гауптвахты, заставят его все уборные перемыть, картошки дадут ему перечистить до умопомрачения, откажут, наконец, солдату в долго ожидаемом отпуске. Но все же спасут. Ради выгоды ли, по хорошему ли настроению или по другой столь же веской причине, но спасут.

У Молчи-Молчи всего этого нет. Он не связан с другими офицерами выгодой, он не думает о солдате, как о человеке, ибо не соприкасается с ним в быту, а по должности своей смотрит на него, как на потенциального преступника. Его должность быть нигде и вместе с тем везде, внушить всем, что он все знает, что ему ведома солдатская мысль раньше, чем она родилась. Начальник особого отдела — это террор, которого не видишь, у которого нет

цвета и запаха, но который чувствуешь всеми своими солдатскими нервами.

Молодые офицеры подвыпивши, называли Молчи-Молчи Оком Царевым и добавляли: "Сидит, сволочь, улыбается, а что у него там, в черепе, — один черт знает; что он там калякает на нас, на часть". Эти слова прежде всего означали, что Молчи-Молчи не был для молодых офицеров ни товарищем, ни офицером в полном смысле этого слова. Он был инородным телом. Он следил за нашими мыслями и не верил, по своей должности не верил, что все мы, солдаты и офицеры, намерены в случае чего защищать родину. И власти у него было больше, чем у других, и идти против него было равносильно самоубийству.

СЛУЧАЙ В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ

Это было в начале 1968 года. В военном городке, где мы стояли, наш артиллерийский полк граничил с маленькой минометной частью. И так получилось, что большинство личного состава в нашем полку были ребята русского происхождения, а у минометчиков большинство — с Кавказа и из Средней Азии. В моей батарее был паренек из-под Рязани по фамилии Свечин, с лицом как у царевича из мультфильма. Веселье было в Свечине разлитое. И редкая девушка в деревне Покровка не липла к нему. Нас, славян, это, в общем, только забавляло. Ну, подшучивали над ним, ну, немного сердились — не больше. Кавказские же ребята, с солнцем в

крови, на успех Свечина смотрели косо. Сначала только дулись, а потом перешли и на национальный вопрос. Начали говорить, что мы, русские, сидим в Кремле и распоряжаемся их землями, что мы богаче их и что у нас больше прав. А Свечин взял вдруг и сказал: "Покажите мне человека в Союзе более бедного, чем у нас в деревне — у нас и электричества-то там до сих пор нет, — я не только перестану девкам здрасьте говорить, но и свою пилотку съем вдобавок".

Шли дни. И в нашем военном городке все рос и рос, как говорят в учебниках, национальный антагонизм. Один татарин даже сказал, что мы татар из Крыма в Сибирь сослали и половину из них истребили по дороге. Большинство из нас, русских парней, не сообразило даже в начале, в чем дело... Какие татары? Какой Крым?.. В школе этого не проходят. Некоторые логически рассудили: а что, действительно в Крыму жили татары. Теперь их нет. Куда они подевались? В начале века были, после революции были, а теперь — нет. А ведь их было много, наверное. В общем, никто не обиделся. Поговорили и забыли.

Через пару дней, после отбоя, несколько минометчиков зашли в наше спальное помещение и устроили Свечину темную. Темная — это значит человека накрывают с головой одеялом (по обычаю и чтобы он не видел, кто бьет) и колотят снятыми с ног сапогами. Пока Свечин стонал, некоторые из славян приподняли головы, но убедившись, что, в общем, в казарме не так уж шумно, вновь уснули. Минометчики вошли во вкус и еженощно — до или после обхода дежурного офицера — проникали в нашу казарму, выбирали жертву, устраивали ей

темную и спокойно уходили. Я уж, право, не помню — то ли со всеми считал, что моя хата с краю, то ли вообще ничего не думал. Некоторые даже смеялись над пострадавшими, советуя им в следующий раз охоть тише. Затем приходила очередь и этих шутников.

Быть может, весь полк так бы и прошел через темную, если бы не подоспело 23 февраля. После парада каждый, как мог, доставил себе немного забытья. Друзья делились чем могли — последней каплей водки, спирта, одеколona, кто курил анашу, давая другому затянуться разочек. До отбоя было еще часа два. Солдаты, разомлев, валялись на койках, курили. Благо, офицеров не было. Вдруг в казарму ворвался заряжающий второго орудия Малашин. Лицо горит, нос раздувается. Встал посреди казармы и как заорет: "Кацапье! Развалились, дрыхнете, а там — Малашин указал в сторону казармы минометчиков — про нас говорят, что мы русское дерьмо!"

Много позже я припомнил слова Пушкина: "Русский бунт, бессмысленный и беспощадный".

Кто-то заорал: "А ну, славяне!"

И все ринулись к казарме минометчиков. И, не глядя на лица, разнесли все вдребезги. И никто не подумал: как же так получается, что солдаты Советской армии громят своих же. Человек пятнадцать угодили в госпиталь с переломами и сотрясением мозга.

Только вернувшись в свою казарму, мы обрели способность рассуждать. Многие храбрились, стараясь побороть стыд. А после всей казармой пошли навестить минометчиков, передать гостинцы. Но в глаза не смотрели.

Начальство это дело, конечно, замяло. А мы — мы долго ходили как в воду опущенные.

АНАША

На Дальнем Востоке зима бьет человека не так холодом, как ветром. Он пробивает шинель, ватник, караульную шубу, изматывает. Стоишь и боишься как бы и душу вдруг не унесло. А на зимних учениях и караульной шубы нет, нет часто и валенок. Одно спасение — достать сапоги размера на два больше ноги и хорошо завернуть ноги в газету — в "Правду" там или "Красную звезду". Не сделаешь этого — настрадаешься. Ночью, мучаясь, будешь проклинать каптерщика, продавшего в деревне твои валенки, и старшину, пропившего вместе с ним вырученные деньги.

Старший лейтенант Потапенко из второй батареи в ответ на жалобу, любил поговаривать: "Ничего, ты не свинья — ко всему привыкнешь". Иногда снисходительно добавлял: "Не знаешь разве поговорку: хочешь жить, умей вертеться". И уходил паренек из его теплой самоходной будки обратно на мороз с незамерзающим отчаянием и злобой в душе.

Я однажды наблюдал за таким мальчиком, для которого эти зимние учения были первыми. Ему, наверное, и девятнадцати не было. Мне стукнуло уже 22 года, учениям я счет потерял и за все время только раз обморозил себе ногу. Паренек стоял возле орудия и глядел на гуляющего взад и вперед по позиции ефрейтора Хубилая. Парень смотрел на не-

го в остолбенении. И не мудро. Ефрейтор был без перчаток и варежек, а телогрейка и гимнастерка даже не были как следует застегнуты. Хубилай подошел ко мне и спросил: "Володя, чего эта зелень на меня так выпятилась?" Спросил и ткнул пальцем в сторону замерзающего паренька. Я ответил: "Разве сам не знаешь? Ты для него чудо природы. Хубилай растянул губы в грустную и вместе с тем довольную улыбку. Потом сказал: "Пойдем к нему. Ведь пропадет ребенок".

Я встал со снарядного ящика, на котором сидел. Я уже два года дружил с Хубилаем... Он был..., впрочем, кого интересует национальность друзей. Хороший парень, настоящий друг — и все. Два года тому назад Хубилай также мерз на учениях, но кто-то сжалился над ним, дав ему покурить папироску с анашой. Анаша — самый распространенный на Дальнем Востоке наркотик, нечто вроде гашиша, только гораздо слабее. Но для солдата важнее всего то, что анашу он может сам делать — из конопли. И некоторые вместо того, чтобы пойти, например, в кино, есть сладости или попытаться найти себе добрую девушку, во время самоволки уходили в поле, искали коноплю. Находили ее, расцветшую. И хлопая руками по цветку, собирали пыльцу, еле видимую, почти неосязаемую руками. За шесть-семь часов работы можно, как говорили анашисты, "создать себе комочек". Если отцвела конопля, а запас не сделан, то работа предстоит более долгая, тогда необходимо растирать семена. Затем, аккуратно выпотрошив папиросу, смешать табак с крошечным кусочком анаши. Надьшишься — и нет горестей, нет мороза, нет сомнений, нет желаний. Есть покой.

Я сам прошел через это, но спустя несколько ме-

свяцев после первой папироски выкинул прочь свой кусочек анаши. Мне из дому прислали денег, и я купил несколько бутылок перцовки. Согревался ею, тянул через соломинку. У Хубилая и у десятков других ребят в части не было родственников, которые посылали бы им деньги. У них не было перцовки и они втянулись. Паренек, обомлев, смотрел на Хубилая, но он не видел, как я, что у Хубилая лицо желтое и неестественно расширены зрачки, не знал, что за два года он потерял двадцать килограмм веса, не знал, что трудно будет, почти невозможно будет Хубилаю без анаши.

Я не стал мешать Хубилаю. Он расставался ради чужого парня с кусочком анаши, с кусочком своей жизни. Это мало кто мог сделать. Он губил парня? Да, возможно. Но когда парень задышал часто-часто анашистым дымом и забыл о холоде, смерти и своем несчастье, когда стал спокойно смеяться, когда в нем исчезло много животного и появилось много человеческого, я поверил в торжество несправедливости.

ЗАЩИТНИК РОДИНЫ

Родина — это твой народ, это земля, на которой ты родился, это язык, на котором говоришь, это все, к чему ты привык и без чего тебе будет скучно и нудно жить. Родина — это иногда неожиданный запах, для кого полыни, для кого грязного вонючего подъезда, в котором разбиты все лампочки до одной. Но мне думается, что для многих понятие

Родины — просто чувство, такое чувство, все определения которого словами кажутся бледными.

И вот ты получаешь повестку, приходишь во двор военкомата, откуда тебя направляют на сборный пункт. Сидишь там с ребятами, ждешь и подпеваешь веселому пареньку с гитарой: "Я жду, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно". Или что-то в этом роде. Наконец, приходят хмурые вояки, берут тебя, сажают в самолет или поезд и отправляют куда-то в тартарары. Прибываешь ты в часть, там тебя одевают, вернее напяливают на тебя обмундирование: если ты маленького роста — дадут большой размер, если велик ростом — наоборот. Остригут тебе башку — вот почти и готов защитник того, что даже русский язык не способен по-настоящему охватить. Поставят тебя в строй. Справа и слева такие же парни, как ты, и ты ждешь, что должно прийти чувство локтя, ощущение общности, стремление к дружбе. Ты и все вокруг тебя — защитники Родины. Ты сам не произносишь эти слова, зачастую звучание их может показаться тебе истасканным, полинявшим, но снова и снова оживает где-то в тебе что-то родное, что трудно определить словами, пощупать руками. Только почувствовать.

Но вот выходит из казармы обычно вялой походкой сержант или старшина, в общем парень как парень, останавливается перед строем и произносит будто шипит: "Я вас научу родину любить".

Сколько раз за три года службы я слышал эти слова? Я не считал. Никто не считал. Иные не обращали или старались не обращать внимания, другие постарались забыть, а многие превратили слова "я вас научу родину любить" в шутку. Но горечь

все равно осталась — глубокая. До сих пор, когда я медленно, по слогам, как ребенок, повторяю: "Я вас научу родину любить", — меня мучает мысль, как могут эти слова жить рядом? Как можно вообще научить или заставить любить Родину?

Стоишь иногда на посту и думаешь, часто не можешь не думать: "Для чего я здесь стою с автоматом? Чтобы свою Родину защищать или чтобы защищать Родину тех, кто хочет заставить меня ее любить?" И опять нет ответа. Иногда вдруг покажется, что есть ответ, что он на кончике языка вертится. Закроешь глаза, подождешь еще, напряжешь свой мозг, но тщетно..., под сомкнутыми веками только пробегает, зачеркивая все, бледная спираль. Откроешь глаза и устало думаешь: "Скоро смена, стоять еще двадцать или тридцать минут".

Ушел из тебя гражданин. Остался солдат.

В учебсвязи нас было 160 человек. Сейчас припомнился мне один из нас, один чужак по фамилии Быблев. Он был, кажется, родом из какого-то закарпатского села. Его заветной мечтой было поступить на исторический факультет. Быблев буквально глотал книги и учебники по марксизму-ленинизму, говорил о социализме, коммунизме, мировой революции. Он не только много читал, он действительно верил, как верят в Бога, что мы идем к светлому будущему и что через лет двадцать советский человек совсем переменится и как только это произойдет — настанет коммунизм. Сказать честно, ни раньше, ни позже я таких ребят не встречал. В учебке его все считали немного чокнутым, но вполне безобидным малым. Вид Быблева лишь вызывал жалость, так он был худ и слабосилен. В

первый же день знакомства он заявил, что мог бы поступить в университет, но решил, что сперва должен послужить Родине в рядах вооруженных сил. В ответ несколько человек добродушно повертели пальцами у виска. Снять, как положено по правилам, обмундирование за 60 секунд он не мог, старался, но пальцы скользили по сапогам, по пуговицам. Сержант подозвал Быблева и сказал: "Слушай-ка, защитничек родины, — Быблев гордо выпрямился, — туалеты у нас больно уж грязные, пойди-ка повкальвай. И чтоб там чисто было, как в ленинской комнате". Быблев пытался растолковать сержанту истину о великом долге и кодексе строителя коммунизма. Сержант не понял.

Несколько человек отвели Быблева в уборную, там избили, чтоб не умничал, и оставили на ночь работать.

Через два дня рота бежала по пересеченной местности три километра в противогазах. Естественно, у каждого нижняя часть противогаза была оттянута от подбородка к переносице: парни бежали, дышали. Один Быблев побежал честь-честью, как положено, и на первом же километре свалился без сознания. Рота из-за Быблева не получила хорошей оценки, и ему опять досталось.

Этот паренек терпел все, был согласен на все, кроме одного — жить без книг. В нашей учебной части настоящей библиотеки не было. Быблев попросился в деревенскую. Ему отказали. Он пошел самовольно, днем, ни от кого не таясь. Офицеры послали за ним вдогонку ребят, довольных нечаянно случившимся приключением. Ребята настигли Быблева, и тот с отчаянием, свойственным физически слабым людям, стал защищаться. Доброду-

шие в армии чрезвычайно быстро переходит в злобу, этому способствует нервная и вместе с тем однообразная жизнь. Быблева избили, сломали ему нос и надорвали ухо. Когда его втаскивали в казарму, он кричал: "Это я — защитник родины, а вы, вы — душегубы и опричники".

Быблев не был похож на других. Наверно, поэтому я его хорошо запомнил. Он делил людей на защитников отчизны и на тех, кто пользуется этим термином в корыстных целях. Мы этого не делали. Многие смеялись над ним. Он мучился и его мучили. На моих глазах он страдал год. Что было после — не знаю, но могу предположить...

ПОЛИТИНФОРМАЦИИ

В пятидесятые годы редко какой солдат имел за плечами аттестат зрелости, и об уставах армии он узнавал от офицеров и сверхсрочников, часто нарушавших уставы. Например, бывали случаи, что солдата наказывали голодом. Политическая подготовка солдата в те времена была важнее всего. Он мог не знать, как заряжается карабин или трехлинейка, но был обязан знать, что мы воевали в тридцать девятом году не против Финляндии, а против белофиннов. Да и кроме того, был страх, страх не знать то, что нужно, и страх знать то, что не нужно. Солдат старался кроме "так точно", "есть" и "будет выполнено" вообще ничего не говорить. А солдат голодный и кроме того привыкший бояться — не солдат.

Старый капитан, рассказывавший все это мне и моему другу Малашину, хоть и был пьян, но все же можно было разглядеть в его глазах радость, радость человека, который перестал бояться. Правда, после каждого предложения он, капитан Евгений Анатольевич Белкин, говорил: "Только, ребята, это все между нами, договорились?"

Это случилось пять лет назад. Нам всем тогда не было и двадцати. В армии трудно жить двойной жизнью, трудно найти отдушину. В армии не разделить день пополам, чтобы из второй половины сделать, сотворить себе другой день, свой, выдуманный. В армии ты не принадлежишь себе с утра и до утра. В армии твое тело непосредственно принадлежит государству. И, быть может, поэтому мысли уходят из головы на поиски истины.

Нам в этих поисках невольно помогало недовольство старых офицеров или глупость, неосторожность и необразованность офицеров молодых, еще три года назад пахавших землю в колхозе. Помню один из этих еще мокрогубых как-то рассказывал на политинформации о взятии советскими войсками Кенигсберга. Он сказал: "Советские войска, освободив Кенигсберг, вернули его Советскому Союзу..." Малашин, попросив слова, сказал: "Товарищ лейтенант, тут ошибка выходит. Кенигсберг был не освобожден, а взят. И его не вернули нам, а мы его отобрали у немцев. Кенигсберг — исконная немецкая земля, он — родина Канта". Лейтенант, побелев, прошипел подозрительно: "А ты откуда знаешь? — и не дождавшись ответа, зарорал, — ты что их защищаешь? Может, ты сам немец, фашист? Они моего отца убили, мать убили. Нужно было их всех перебить, всех немцев и Канта твоего

тоже". Малашин резко возразил: "Моего отца тоже убили, но это еще не значит, что, мстя за отца, я должен желать гибели целой нации, великому народу. Выходит, что мы должны, по-вашему, истребить ГДР, должны были расстрелять Тельмана. И Карл Маркс — тоже ведь сын немецкого народа".

Громовой хохот личного состава заставил лейтенанта заорать: "Встать! Смирно!" Но голос его потерялся в хохоте. С этого дня начался во взводе необратимый процесс — падение дисциплины. Еще древние греки говорили, что ничто так верно не убивает, как смех. Смех и убил лейтенанта... Его перевели. И о нем скоро забыли, но не о смехе. Что-то осталось в солдатах, какое-то недоверие, скорее ощущаемое, чем выговариваемое.

Ложь политинформаций была все чаще непонятной. А не понимать, для чего тебя обманывают — вредно для солдатского равновесия. Когда наши войска вошли в Чехословакию, в нашей части в общем почти никто не возмутился, у многих даже было чувство злорадства: мол, чехи-то жили лучше нас, а захотели жить еще лучше. Им что, больше других надо было. Вот за это их и покарали. Свободы захотели. Обожрались.

Многим казалось, что желать свободы могут или люди, доведенные до отчаяния (а все знали, что в Чехословакии живут лучше, чем у нас), или люди обожравшиеся. Логичнее было второе. Но когда на политинформации нам говорили, что мы освободили чехословацкий народ, что мы вторглись в их страну по их же призыву, и еще добавляли, что готовилось вторжение западногерманских войск в Чехословакию — становилось даже не смешно.

Помню, кто-то как раз после вторжения получил из дому денежный перевод. Собрались мы в кочегарке полка, была закуска, несколько бутылок питьевого спирта. И один парень из-под Пензы, никогда раньше не интересовавшийся ни политинформацией, ни политикой вообще, сказал: "Они что, нас за дурачков принимают? Даже не за дураков, хуже — за детей. А мы солдаты, военнослужащие, а не дети. Выгодно было, вот и забрали этих чехов. Сила у нас — вот и забрали. Пора бы перестать нас считать детенышами".

Некоторые, как например, капитан Белкин, понимали, что советский солдат перестал быть солдатом времен Жукова. Но Белкин не вел политинформации. Белкин учил нас стрелять. И делал он это добросовестно и наказывал нас без злобы. Мы таких офицеров называли между собой Максим Максимычами. Но когда приходил заместитель командира полка по политической части подполковник Драгаев и говорил, что трехмиллионный израильский агрессор вероломно напал на несчастный свобододолюбивый и миролюбивый стомиллионный арабский народ — всем становилось неприятно от столь очевидной лжи. Ни для кого не было тайной, что арабы вооружены нашим оружием и что они более чем в тридцать раз превосходят числом израильтян.

Как-то Малашин, говоря о политотделе, умозаключил: "По-моему, это в политотделе сидят дети, повторяющие, как попугай, то, что давно устарело. Процесс, происходящий в солдате, давно перегнал застывшие слова и глупую ложь".

ДВА РАССКАЗА

Однажды нежданно-негаданно я получил увольнение. Село, около которого мы стояли, было серым и скучным. В духоте будто от неуютности горбились улицы. Решил я все же залить грусть спиртом. Но возле гастронома и пивных расхаживали патрули. Пошел я тогда к самогонщице, тете Нюре. В каждом русском селе есть самогонщица тетя Нюра.

У Нюры уже сидел клиент, ефрейтор внутренних войск или как их называют — краснопогонник. Он был мрачен и цедил стакан за стаканом. Напившись, краснопогонник стал рассуждать. "Разве это жизнь — цедил он. — Мучаюсь теперь через них, гадов... Эх, что ты там понимаешь... Целый поселок с места тронулся... Ты у озера Хасан был? Это возле. Начальство заявило, что люди поселка хотели сбечь в Китай. А начальство не говорит, что голод у них был, не подвозили в поселок хлеба, молока не было, и что люди шли не в Китай, а в город. Сам знаешь, как теперь с хлебом. Вот мучались они без хлеба, мяса и молока, смотрели, как дети пухли, вот и не выдержали".

Краснопогонник замолчал и затем вдруг пьяно закричал: "А о чем Москва думала?! Что, я тебя спрашиваю?! Какая-то сволочь с полковничьими или генеральскими погонами завопила Москве в трубку: хотят в Китай удрать. Предатели. А в Москве перепугались, наверное, подумали, что этак весь наш Дальний Восток к ним перебежит. В Китай! Будто там есть что жрать!.. Людей-то много было, с детьми шли. Не остановились, когда мы им преградили дорогу. Наш полковник, видеть его

не могу, приказал им вернуться назад. Они что-то кричали... Не помню, думал ли я тогда о чем-либо или всё, душа тоже, спряталось куда-то, чтобы не мешать”.

Краснопогонник судорожно сглотнул — так, словно хотел окончательно проглотить свое адамово яблоко, запнулся, но все же досказал: ”А может не спряталось, а я сам свою душу и совесть закинул подальше. Не помню, все забыл. Мы стреляли в воздух, а потом и в них, в людей. Приказ был, ты понимаешь, приказ! — Краснопогонник постарался выпрямиться на стуле. Он закричал, как бы перекрикивая самого себя: — Приказ!.. — А затем прошептал пьяным голосом, полным потаенной истерики: — А что можно против приказа? — И сам себе ответил: — Ничего”.

Мне было трудно поверить ему. Казалось невероятным, что такие же ребята, как я, стреляли и убивали советских людей. И вместе с тем во всем была логика, наша логика — логика, которую нам передала наша власть. Но меня смущала двойственность мыслей и чувств. И я спросил: ”Верно говоришь?”

Краснопогонник поднял на меня глаза. Передо мной уже не было подвыпившего парня, был много переживший мужчина. В его взгляде было странное спокойствие, такое ощущение приходит, когда долго смотришь в глубокий черный безводный колодец. Он мне сказал: ”С этим не шутят. Их человек семьдесят полегло, бабы были, сопляче всякое. Я ни о чем не думал, когда стрелял. Но с тех пор много думал... голова болит. Мне часто кажется, что я должен был стрелять либо в себя, либо в полковника. Трудно мне будет жить”. Допив свою бутылку, я ушел. Я решил все это забыть.

Через два месяца после злополучного увольнения нашу роту направили на сбор картофеля в один из близлежащих совхозов — совхоз имени В. И. Ленина. Земля была ленивой и сам совхоз и совхозники. Все — соя, картофель, злаки — росло тоже лениво. Нас расселили по домикам. Все были довольны. После работы многие ходили в клуб на танцы, в кино, заводили себе девушек, женщин, старались урвать от жизни то, что дает молодость и отнимает армия. С питанием в совхозе было плохо, но все же терпимо. Было что-то напоминающее хлеб, было молоко. А что каждый прятал у себя в подполье — про то не спрашивалось и не говорилось. Во многих домиках жили пришлые. Они в основном занимали каморки, служившие зимой хлевом. В домике, в котором меня поместили, жила женщина средних лет с дочерью. Женщина как женщина, если бы не бросала тайком на меня недобрые взгляды. Я им однажды принес тушонку. Я видел: женщина хотела бросить эту банку мне в лицо, но пересилила себя и взяла. Голода не было, но банка тушонки была лакомством. Мало-помалу мы разговорились. Но не ненавидеть меня она не могла. Оказалось, что она была одной из тех, в кого стрелял пьяный краснопогонник.

Она сказала мне: "У них были красные погоны. Здесь еще можно жить, а у нас был рабочий поселок и подвоза совсем не было. Мы пошли. Мы не верили, что они будут стрелять. Мужик мой прямо закричал, что вы, мол, не можете стрелять в своих отцов, в рабочих. Он ошибся. Он остался там. — Женщина вся съежилась, сжалась в один комок. Затем подняла на меня глаза. Закричала: — Ненавижу вас, вы стреляли, вы, солдаты. Будьте вы все

прокляты! Ненавижу. — Потом вновь заговорила обыденным голосом: — Ошибся мой мужик, ошибся”.

ПОЧЕМУ ?..

Сологдин Иван Степанович был родом из Пензы. В военкомате сказал, что он согласно своей вере не может держать в руках оружия, не может воевать и тем более не может проливать кровь ближнего своего. И сказал еще, что если его, все-таки, заберут в армию, от отрубят себе пальцы. И добавил, что готов за веру отсидеть в лагере положенный срок. Может, его сразу и посадили бы, но военкомату нужно было выполнить план. Военком сказал Ивану Степановичу: ”Не бойся, никто тебя не заставит держать автомат. Будешь в стройбате или хоззвезде”. Он поверил. Он подписал все бумаги и с легким сердцем ушел.

Ни много, ни мало, попал Иван Степанович Сологдин в учебную часть. Мы были почти соседями по койке. Мы были люди разные. Он был тем, кого я называл сектантом, а я был вообще неверующим. Сологдин любил людей, любил животных, но не как многие, по настроению, а по убеждению. Для него было, например, естественным помочь парню, который должен был в наказание полночи чистить картофель или мыть полы. Мы над ним посмеивались, называли Сологдина блаженным.

Прошел подготовительный месяц, пришел день присяги, и Сологдин отказался наотрез взять в руки автомат. Офицеры, засмеявшись, начали его угова-

ривать. Советовали ему и мы "бросить эти хохмы". Он стоял на своем. Офицеры пришли в бешенство. Замполит роты заявил, что Сологодина, дезертира и предателя, надо расстрелять. Помню, я сам осуждал Ивана, не понимая ни его твердости, ни его самопожертвования ради своих принципов. Ему дали три года дисциплинарного батальона.

Моему другу Малашину было жаль Сологодина. Я же, считая, что солдат не имеет права отказываться от оружия, сказал, что Иван знал, на что идет, и что он должен платить. Мы с Малашиным чуть не рассорились. Малашин пошел к замполиту и сказал: "Товарищ капитан, не давайте Сологдину дисбата, дайте ему тюрьму. После тюремного срока он вернется домой, после дисбата — в часть, где он вновь откажется от автомата и вновь получит срок. Жизнь парня будет погублена". Замполит сказал Малашину, что Сологдин дал присягу и что, следовательно, подлежит суду военного трибунала.

После этого разговора замполит дал Малашину пять суток гауптвахты — вероятно, для того, чтобы отучить его от глупых размышлений. Сологдин исчез из нашей жизни, и его почти все забыли.

У комсорга роты Сверстникова, человека, любящего мыслить, но еще больше любящего поражать людей оригинальностью своего мышления, была своя точка зрения относительно интерпретации понятия "справедливость". Он говорил: "Когда человека гнут, гнут и гнут — он ломается. Если справедливость на твоей стороне, то ты будешь тем, кто гнет, а не тем, кого гнут. Но высшая государственная справедливость — это бесчеловечное отношение к невинным. Тогда человек все принимает за справедливость, другого пути у него нет".

Вероятно, для Сверстникова эти рассуждения были созвучны диалектическому материализму и, вероятно, он именно с тем, что скрывалось под этими словами, и пришел к посту секретаря комсомольской организации. Во всяком случае, он был известным сексотом роты.

Малашин часто спрашивал меня, себя, весь мир: почему у нас хорошие люди либо трудно, либо недолго живут, в то время как всякая сволочь благоденствует, перетаскивая свой живот с места на место и ничего не умея делать, кроме зла, часто мелкого и отвратительного? Доносчики не ходят в караулы и подчас по два-три раза ездят на побывку домой. На учениях они не валятся от усталости под кусты и танки их не давят. Почему? Во-первых, они не устают, во-вторых, они уютно спят в тягачах или в палатках. И почему честных, красивых внутренней красотой парней издревле у нас зовут лопухами?

Переживая прошлое, думая о настоящем, предчувствуя будущее, солдат убеждается: злые остаются у нас живыми чаще. И спрашивает: почему?

ПРИСЯГА

Как известно, до присяги солдат еще не совсем солдат. На Дальнем Востоке призывников до принятия ими присяги называют помазками, и когда в часть прибывают вот такие помазки, старослужащие, с нетерпением потирая руки, ждут конца месяца, ждут конца официальной присяги. Многие считают, что солдатская присяга служит тому, чтобы

солдат понял все скрытое унижение присяги государственной.

После того, как парень в мертвой торжественной тишине, чаще всего на плацу, прочел слова клятвы, а затем под барабанный бой двинулся к знамени, чтобы, преклонив колени, его поцеловать — в казарме вечером, обычно после отбоя, его ждет солдатская присяга. Через час после отбоя все встают. Свет в казарме не зажигается, чтобы не привлечь спящего в комендантском домике или на контрольно-пропускном пункте дежурного по части. Мелькают фонарики. Молодежь, то есть помазки, устраивается в две шеренги спиной к дверям казармы, лицом к проходу между койками. На середине прохода устанавливаются два опрокинутых стула. На койку во втором ярусе устраивается баянист, аккордеонист или старослужащий с губной гармошкой. По обеим сторонам опрокинутых стульев становятся самые почетные старослужащие или, как их называют, старики. Более молодые солдаты охраняют входы и выходы казармы. Старики наматывают на руки армейские пояса таким образом, чтобы бляха со звездой небрежно посвистывала, разрезая воздух. Начинает играть музыка, и под фальшивые звуки какого-нибудь революционного марша каждый, только что ставший солдатом, ложится, выпятив зад, на опрокинутый стул. Старики наносят несколько ударов по мягкому месту бляхой, и... на этом собственно и кончается обряд солдатской присяги. Чаще всего старики не заставляют идущих под присягу спускать галифе к коленям, но иногда старослужащие бывают неумолимы, и тогда отштампованная на бляхе звезда оставляет и на коже свой отчетливый след.

Семен Гаврилов, в гражданской жизни слесарь, в военной — наводчик 156-миллиметровой гаубицы, любил опасно рассуждать. Обычно он говорил в узком кругу, но иногда, напившись, мог вдруг заорать: "Гады, советскую власть закопали!" Гаврилов считал, что солдатская присяга есть отражение, справедливое и настоящее, присяги официальной. Что солдатская присяга была рождена рядовыми, раскрывшими смысл официальной присяги. Молодой парень, ставший солдатом, громко, торжественно произносит слова клятвы, голос его дрожит от волнения, руки, держащие автомат, покрываются потом. Солдат присягает на верность, он клянется своим именем, человеческой честью, своим достоинством. Если раньше он не думал обо всем этом, то перед знаменем, в торжественной обстановке, в которой чередуются то звенящая тишина, то бой барабана, молодого парня охватывает трепет.

И после, когда постепенно на солдата начинает надвигаться правда жизни, солдат убеждается, что был обманут, что ему нет ни веры, ни доверия, ни уважения, что слова присяги были для тех, кто их придумал — пустые слова, что для начальства важнее всего страх наказания, что для него хорош тот солдат, который, думая о присяге, думает о военном трибунале. И солдатская присяга, этот подчас унижительный ритуал, создан для того, чтобы молодой солдат сразу понял, почувствовал мгновенно всю подлость того, что с ним произошло утром.

Так думал Гаврилов и многие другие. Я же считал, что старики мстят за унижения и учат унижению молодых. Иногда подобные уроки кончались трагически.

Из секретки штаба ежедневно ползли слухи. Однажды пришел слух, что где-то под Хабаровском (не помню ни района, ни номера части) было побоище. Прибыли призывники. Среди них парень, которому было уже двадцать пять лет. К тому же не только женатый, но и отец двух малышей. Ему, вероятно, давали в течение нескольких лет отсрочку: то ли по состоянию здоровья, то ли по семейным обстоятельствам. Этот парень уже забыл об армии, уже давно решил, что военная служба его миновала. Но вот пришла повестка, и — прощай жена и дети. Прибыл в часть, на душе неловкость — вокруг малые ребята. Сержанту, прослужившему два с половиной года, как говорят в армии, матерому мародеру, всего двадцать один год. Подошло время государственной присяги. А вечером, в казарме присяга солдатская. И насмешливый приказ молоденького парнишки, но старика в армии: снимай штаны. Положение странное, вдвойне унижительное. Мужик говорит: ребята, у меня дети есть, нельзя так. Ему отвечают: дети у тебя на гражданке, здесь все сироты. С меня снимали, и с тебя снимут. Я понял армейскую жизнь, и ты поймешь. Не знаешь как снять штаны — научим. Не хочешь — заставим. Мужик защищается. Желание не быть похожим на других — вызывает злобу. Его скручивают. Срывают галифе. Опрокидывают. И порют до крови, до крови на звезде, что на бляхе ремня.

Что в нем произошло в ту ночь, знает только Бог. Он подождал предрассветного часа, встал, оглушил дневального и дежурного по роте, забрал у последнего ключи, открыл дверь в оружейную комнату, взял автомат и несколько запасных рожков, вер-

нулся в спальное помещение и открыл огонь. Он убил двадцать два человека. Он стрелял до тех пор, пока прибежавший на выстрелы дежурный по части офицер не пристрелил его. Парня объявили сумасшедшим. Трупы похоронили. Некоторых офицеров понизили в чине, другим объявили выговор. Полы спального помещения казармы тщательно отскоблили. Всех оставшихся в живых солдат злополучной роты раскидали по воинским частям хабаровского края.

ДО ПРИБЫТИЯ В ЧАСТЬ

Эшелон, который вез меня в Тартарары, шел от Харькова до Владивостока семнадцать суток. Я уже и не помню, где на меня напялили обмундирование: то ли в Новосибирске, то ли в Чите. Позже узнал, что ХБ (хлопчато-бумажное обмундирование) чаще всего выдают по прибытии. Нам, призывникам, сообщили о пункте назначения только на двенадцатый день пути. Почему не раньше? Почему не позже? Никто не даст ответа. И нет уверенности: нужен ли он. Но неприятный осадок остался. Если и были у кого мысли о суровой дружбе мужчин и прочее, то они растаяли, как дым, встретившись с жестокой реальностью.

Взвод охраны эшелона состоял в основном из солдат третьего года службы. Они выпрашивали у призывников сигареты, нагло советовали, чтобы те отдавали им меховые и вообще ценные вещи, мол, все равно пропадет, отберут на месте. И вместе с тем услужливо предлагали: "Хошь, сбегая на ос-

тановке за поллитрой... давай шесть рубчиков. Трояк за водяру, трояк за услугу". Не брезговали просить хлеб, сало, глоток самогона. Просили, как умоляют или требуют, — с упорством.

Призывникам, выехавшим из дома с чемоданами еды, с деньгами, данными родителями и родственниками, было в общем наплевать на походную кухню эшелона, они от нее принимали только хлеб, сахар да чай. Остальное: липкую кашу, жидкий вонючий суп — за окно. Многим было противно глядеть на солдат-охранников, хитрых противной хитростью. Призывники сразу их невзлюбили. Кроме всего, эти солдаты на редких и без того остановках оцепляли вагоны и не давали сбегать за бутылкой, за колбасой. Правда, когда на одной остановке (это было уже за Обью) несколько призывников пролезли, все-таки, в окна вагона и помчались к ларьку и прибежавший пьяный подполковник, начальник эшелона, эпилептически заорал: "Стой, гады, стой! А-а-а-а, стреляй по ним! Приказываю открыть огонь по дезертирам!" — солдаты взвода охраны не шевельнулись, даже не вскинули для видимости карабины. Но это были все частности. А так многим приходила мысль: "Какая же тут дружба, когда они готовы за перчатки, за бутылку, за свитер горло друг другу перегрызть". Это была правда, видимая глазами. Не истина, которую мог знать только опыт, которого у нас не было.

Те, которых мы презирали, сами с презрением относились к нам, мокрогубым, не познавшим тяжести устава. Мы были для них иноплеменниками, которых можно обмануть, с которыми можно было по-татарски словчить. Мы были для них маменькиными сынками, которые не знали цену уни-

жению, а, следовательно, и гордости, не знали голода, холода. Мы с усмешкой выбрасывали за окно пищу, которую они ждали с нетерпением каждый день, каждый час, мы ели яства, о которых они мечтали ночами в розовых снах. И подарки они принимали от нас со скрытым презрением.

СМЕРТЬ СТАРШИНЫ

Старшину Пропоренко я почти не знал, он был старшиной роты связи и к нам, артиллеристам, отношения не имел. Дом его (Пропоренко хвастался, что в хозяйстве его отца и амбары каменные) стоял где-то под Житомиром, сам он остался на сверхсрочную по лени (он сам признавался: для того, чтобы землю не пахать), но на всякий случай подписал договор только на пять лет. И действительно, этот здоровенный парень жирел на глазах, важнел не по дням, а по часам, и о нем говорили, что у Пропоренко зимой снега не выпросишь.

Осенью 1969 года в часть привезли юношей из Прибалтики. Парни были длинные, худые, еще нескладные, холеные, подчеркнута опрятные, дружили между собой.

Для нас, славян, они были чужими, далекими европейцами. Мы часто, смеясь, повторяли: у них там в Европе слова-то такого совести и в помине не было. Обычаи у нас были разными, а служба одна. Она и дала хоть и не теплоту, но взаимопонимание. Да и жалели мы их, юнцов. Им было по восемнадцать, а нам перевалило за двадцать, да и почти вся служба была уже позади.

Несколько из этих прибалтийцев попали в роту связи к Пропоренко. У меня там был один знакомый и вообще хороший парень Алексей Габашвили. У него в Грузии было много родственников, и каждый из них считал своим долгом посылать ему ежемесячно пятьдесят-сто рублей. К началу эти деньги не попадали — Габашвили получал их до востребования на почте в селе Покровка. В селе было много бывших уголовников, оставшихся после лагеря на Дальнем Востоке, и Габашвили был со многими из них дружен. Габашвили мне часто говорил, что в Грузии Пропоренко давно бы заработал кинжал между ребрами. Он повторял это так часто, что я перестал обращать внимание на эти его слова.

Однажды наша батарея возвращалась с двухдневных стрельб. Один из тягачей, въехав в оружейный парк, стал разворачиваться, чтобы как можно быстрее и лучше поставить орудие на место. Судьба или случай сделали так, что колесо орудия попало в редкую на оружейном парке яму. Гаубица наклонилась, скобы, держащие ствол орудия в его люльке, лопнули, и полуторатонный ствол гаубицы, шлепнувшись на землю, стал постепенно набирать скорость. Один из прибалтийцев-связистов, его звали Алик, распутывал в это время моток проводов.

Увидев катящуюся на него громадину, он выпустил моток и вытянулся во весь свой рост. Он мог отбежать. Мог отойти, времени бы хватило. Но он только глядел на мчащийся на него неуклюжими скачками ствол. Все застыли.

Размозжив в прыжке паренюку голову, ствол понесся дальше, пока не застрял в канаве, вырытой для стока воды.

Офицеры побежали в штаб. Мы же медленно обступили то, что было еще несколько секунд назад пареньком по имени Алик. Рядом со мной стоял Габашвили. Я сказал ему: "Алеха, ведь он работал в мундире. И чего это он пошел на работу в мундире?" Габашвили ответил: "Ему сегодня должна была позвонить мать. Для него это был праздник, вот он и надел мундир". Так мы переговаривались тихими голосами, пока в оружейный парк не прибежал Пропоренко. Дрожа от возмущения, он стал орать, что из-за этого болвана, который себе дал раздолбать голову, теперь у всех будет много неприятностей, что хорошей оценки роте теперь не получить, что было тихо, и вот теперь из-за этого вшивого эстонца получилось ЧП. Затем Пропоренко, заметив мундир, совсем рассвирепел: "Пусть не думает, что я ему новый мундир выдам. В этом тебя, сволочь, и зарюют".

Пропоренко ушел. В оружейном парке наступила тревожная тишина. Был человек. Нет человека. А мать звонит, прижимает трубку к уху и хочет спросить сына, хорошо ли он питается. А сыну только что разmozжил голову сорвавшийся ствол, и никто не вспомнит о нем. Ни газеты, ни люди, разве что скажет комполка, что нужно впредь лучше ухаживать за орудиями. И похоронят его в мундире, забрызганном его же мозгом, потому что Пропоренко не хочет выдать новую парадную форму.

Габашвили вдруг произнес голосом, идущим откуда-то из живота: "Пропоренко, Пропоренко..."

Через две недельки в воскресенье, в селе на танцах, зарезали старшину Пропоренко. Расследование ничего не дало: как раз в этот день самовольных

отлучек из части не было. Он был зарезан гражданами.

ВТОРЖЕНИЕ

В один из душноватых дальневосточных августовских дней объявили тревогу. Это было странно. Обычно за день или два до начала учений из штаба ползли слухи, приходило негласное утверждение. В любом случае все в части знали за двенадцать часов о будущей тревоге и успевали подготовиться, кто как мог, к учениям. Доставали запасные портянки, лишний бушлат, а у кого были деньги или связи в деревне, бегали туда в самоволку за бутылочкой-двумя водки или спирта. От нудной армейской рутины можно и нужно увильнуть. От боевого задания нельзя. А учения и есть в мирное время боевое задание.

В тот августовский день тревога пришла без предупреждения. Все одновременно подумали о китайцах. Все подумали: началось! Многие после признавались, что темно было у них на душе. Пока бежали к орудиям, пока нагружали инвентарем тягачи, пока грузили ящики со снарядами — по всему полку от взвода к взводу, от расчета к расчету, от человека к человеку пробежалось страшным звуком слово **в т о р ж е н и е**. Мне сразу представились бесконечные колонны китайских пехотинцев, танков. Кто-то сказал: "Ну, братцы, дождались. Держись теперь. Скоро навалятся косоглазые".

В эти минуты исчезли все распри, национальные

и другие — все то, к чему мы привыкли. Теоретически я знал, что когда мы привыкнем и к войне, все гадости вернуться, и мы снова будем делить своих же на высших и низших, на друзей и врагов. Однажды сержант Потапенко, украинец, которого я не любил, сказал мне: "Я вот думаю, что если начнется заварушка с китайцами, то мы совсем по-другому будем смотреть на наших нацменов, всяких там киргизов, туркменов и прочее". Я ответил, что он уже сегодня косо смотрит на них и что во втором бою он непременно заработает себе пулю в спину. Он задумчиво со мной согласился.

Между тем объявили отбой. Но слово вторжение осталось. Только за завтраком мы узнали, что наши войска вторглись в Чехословакию. На политинформации комбат заявил, что кое-кто в Чехословакии хотел реставрировать буржуазный строй, что были предательски открыты границы, охраняющие Чехословакию от капиталистического мира, и что народ Чехословакии попросил помощи у СССР и у других стран, входящих в Варшавский договор. "Мы, — сказал комбат, — остались верны интернациональному долгу и вековой дружбе, соединяющей наши народы".

Было видно, что комбат устал от произношения неестественных для него слов. В конце концов, он был боевым офицером и никогда не слонялся по политотделам. Передохнув, комбат закончил: "Всё. Всем всё ясно и вопросов нет. Разойтись".

В общем, всем было радостно, что война с китайцами еще не началась. За два года службы многие из нас поняли, что война это не столько смерть и ранения, сколько холод, голод и вши. Иные из нас, забыв о какой-то далекой Чехословакии, вернулись

к служебным будням. Иные, а их было все же немало, стали задавать другим и самим себе вопросы. Разумеется, никто не поверил политинформации. Открытые границы и угроза со стороны Запада были сплошной ерундой. Угрожать могли только мы. Соотношение сил на западных границах было таковым, что в сущности наши танковые армии и были единственной и настоящей угрозой всем странам разьединенной Европы; во всяком случае, мы тогда так думали. А насчет того, что чехи сами позвали нас на помощь, то мы просто ставили себя на их место. И становилось смешно: звать к себе чужие танки?

Тем не менее ни один голос в нашей части не поднялся в защиту чехов. Если во время шестидневной войны большинство ребят были на стороне Израиля, потому что русскому приятно, когда маленький бьет большого, то во время вторжения в Чехословакию подобное чувство не проснулось в нас, было скорее озлобление. Помню, кто-то сказал: "Так им и надо. За что боролись — на то и напоролись".

Один Малашин, вечный бунтарь, сказал: "А чего ты кипятишься. Чехословакия к нам не относится, это отдельная страна. И если мы ее завоевываем, то так и надо говорить, а не щебетать сладко, что освобождаем, защищаем. Всегда мы были хищниками, поэтому многие народы, поляки, венгры, а теперь и чехи, нас не любят. Жалеть их надо, а не камни в них кидать... Да, если прикажут, пойду и в Чехословакию. Я солдат. Не в этом дело. Надо так сделать, чтобы такое не приказывали. Понял? Если не понял — после поймешь. На собственном горбу. Чего так смотришь? Что, доносить на меня пойдешь?" Парень, с которым Малашин спорил, густо покраснел.

Кулаки его сжались до белизны в костяшках. Он прохрипел через стиснутое горло: "Ты, Малашин, думай, о чем говоришь. В следующий раз, когда назовешь меня доносчиком, то это самое слово ты и договорить не успеешь".

На Малашина никто не донес.

ПАРЕНЬ ПО ФАМИЛИИ АККЕРМАН

В нашем полку, насколько я помню, было три человека еврейской национальности. Парторг полка подполковник Рубинчик, командир взвода связи лейтенант Коган и рядовой Аккерман Семен Давыдович. Быть может, их было и больше, но на Дальнем Востоке, в отличие от европейской части Союза, антисемитизм как-то не очень распространен, там скорее процветает антиукраинизм. Ну, а если попадет еврей под начало украинца, которого называют презрительно хохол, то еврею лучше было бы вообще на этот свет не появляться. Замкомвзвода Потапенко так и произнес во всеуслышание эти слова относительно Аккермана. Потапенко непременно хотелось уехать домой старшиной или хотя бы старшим сержантом, из чего естественно следует, что он прямо-таки вылезал из мундира, чтобы угодить начальству. Тем же, кто прослужил два года и ожидал в скором будущем демобилизации, Потапенко был совсем не по душе, и они этого не скрывали. Тем более, что сержант был бессилен перед ними: если старики-старослужащие захотят — не будет в подразделении дисциплины, и никто,

ни Брежнев, ни Папа римский, тут ничего не поделают. Пренебрежение стариков грызло Потапенко, выводило его из себя. А Аккерман был, как назло, типичным евреем из народного фольклора.

Многие из нас, познакомившись с Семеном поближе, убедились, что парень он хороший, добродушный, не жадный. Получив из дому посылку, Семен мог поделиться не только с другом, но и просто с тем, кто был рядом. Но Потапенко решил отыграться на нем. Пользуясь уставом, это было легко. Опоздал на две секунды встать в строй — получай наряд вне очереди. Подворотничок недостаточно белый (кому знать — достаточно он белый или нет) — опять наряд. Кому идти в посудомойку? — Аккерману. Месяца через три Семен пожух и осунулся так, что на лице остались только одни глаза. Малашин, парень из Челябинска, сказал мне: "Слушай, Володя, ведь погубит Потапенко этого паренька. Когда такие люди молчат, не кричат, не жалуются — значит, дело плохо... Мне этот парень лично по душе. Подумаешь... Аккерман... Будто фамилия делает человека". Его мнение было моим мнением. Но... Не только в армии, но и на гражданке у нас частенько существует "но". Устав ведь целиком в руках у дурака и мерзавца. Что я мог ответить Малашину? Я и сказал, что мог: "Ты прав. Но... Потапенко нам не сбросить. Устав изменить мы тоже не можем. Как сказал мне один дед: всё боремся со злом и всё победить его не можем. Выходит, что зло непобедимо. Так что предоставь Аккермана его судьбе". Малашин мне ответил: "Не оставлю я его. И судьба тут ни при чем. Не оставлю я его Потапенко. И это мое последнее слово".

Через день я попал в караул. Вернувшись, узнал, что Малашин очутился на гауптвахте. Я пошел к командиру батареи и спросил у него, почему посадили Малашина. Вместо ответа командир покачал головой и дал мне десять суток. Добавил, что делает это для моего же блага.

Когда мы с Малашиным отсидели положенное, Аккермана уже не было в живых. Малашин как в воду смотрел. Парень не выдержал. Стоя на посту, он застрелился за пять минут до смены. Он отстоял сутки и в сущности выполнил свой воинский долг. К нему можно было придраться только за те самые пять минут. Он поставил автомат на одиночный и выстрелил себе в сердце.

В ПОХОД ЗА АНАШОЙ

Советская армия — армия не трудовая. Но это нам не мешало грузить зерно на машины по двенадцать часов в сутки и быть, между прочим, весьма довольными: и осмысленной работой, и свободными вечерами. Молодежи в селе было мало — большинство переселилось в город. Насколько мы знали, за нашу работу колхоз платил полку поросятами. Но поросят этих мы так и не попробовали. То ли их на стороне продали, то ли офицеры съели. Проработав двенадцать часов, мы выходили вечером на главную улицу села и искали какую-нибудь дополнительную работу. Иногда нам предлагали зарезать какую-нибудь скотинку. К примеру, не-

вмоготу было иной старушке собственноручно прибить десятка два кроликов, ею вскормленных, она и звала нас. "Сынки, помогите, — говорила она, — мужика в доме нет, давно как помер. В лихое время помер..." Старушка, которую мы с удовольствием называли бабушкой, запинаясь, испуганно не договаривала и вела нас к клетям. Одна рука хватала кролика за уши, другая, сжатая в кулак, падала на крошечный затылок. Тельце дергалось, из мордашки покапывала кровь, с тушки сдиралась шкурка. Даже когда кроликов было много и приходила привычка убивать, и тогда человечесьи глаза избегали встречаться с кроличьими. Когда работа кончалась, приходила старушка, крестилась, давала нам браги либо самогону, сала и хлеба.

Хотя за кроликов давали больше, чем, скажем, за пилку дров, мы предпочитали второе. Никто не мог объяснить другому и, очевидно, и самому себе причину. Да и как может солдат объяснить солдату, что ему странно-грустно и странно-неприятно убивать кроликов. И как убедить себя в том, что после двух лет казармы и привычки к оружию рука с внутренним трепетом и неохотой опускается на кроличью головку?

Постепенно мы стали избегать нерешительных старушек. Дрова же местные жители заготавливали себе сами. Мы все реже и реже видели по вечерам самогон. Тогда кто-то вспомнил об анаше. Действительно, конопля вокруг было много и этого чертового зелья можно было наготовить вдоволь, но... было лень, страшно лень после двенадцатичасового рабочего дня работать еще несколько часов над коноплей. Нам сказали, что в близлежащем

селе время от времени появляются солдаты. Это было странно — военных частей поблизости не было. Мы спросили, какие погоны у этих солдат. Нам ответили: красные. Значит это были краснопогонники, ребята из внутренних войск. Из чего могло следовать только одно: либо в округе был серьезный объект военного значения, либо попросту лагерь.

В одну субботу, милую нам всем тем, что наш лейтенант, не дождавшись нашего прихода с работы, со скуки упился до потери сознания, мы отправились в то самое село. В столовке возле буфета на полу уже пребывал в хмельном сне краснопогонник, другой, сидя на деревенской лавке, созерцал стакан с перцовкой. Его спросили: "Эй, друг, как дела?" Не поднимая глаз, краснопогонник (лицо у него было прямо есенинское) брякнул: "Ты мне не дружи... Называй товарищ". "Ну, товарищ, если хочешь". Краснопогонник рассмеялся: "Вот-вот, сегодня ты мне товарищ, а завтра товарищем тебе будет тамбовский волк. Понял! У нас много таких. Надоело... вышки надоели, проволока надоела. Домой хочу". Вдруг парень поднял глаза, увидел нас и обрадовался: "Ребятки! Каким ветром вас сюда занесло? Небось в колхозе вкальваете. Садитесь, давайте-ка горе бутылочкой размыкнем... и начхать, что бездолье в душе и бездожде в кармане. Ну, давайте, солдатня, чего боитесь. — Он указал на меня пальцем и сказал с пьяной горечью: — Боишься, боишься, что я тебя щась за ушко да и на солнышко, да?"

Балагур этот начал нас раздражать. Мой друг Машин ткнул его несильно кулаком в зубы. Краснопогонник сначала закричал, что всех нас посадит,

затем расплакался. Еще минут двадцать его речь изобиловала ненужными уху подробностями. Наконец, он несколько протрезвел и сказал: "У вас в части сколько политики в день? Час? У нас раньше было два. А с тех пор, как привезли изменников родины, у нас бывает по три, по четыре часа политдолбежки. И даже между сменами начполитотдела стал талдычить свою ахиною. Жизни не стало. Будто не только они в лагере, но и мы тоже".

Малашин удивился: "Какие такие изменники родины? Разве есть такие?" Парень хрипло рассмеялся: "Мозги у тебя, видно, заболоченные, раз этого не знаешь. Изменниками родины, малютка ты моя, называются политические. А вот почему они стали политическими, у меня не спрашивай, не знаю. Начальство о них всякие байки рассказывает, будто я слепой, а чего не знаю, того не знаю... кстати, чего вам надо?" Мы ему объяснили, что ищем анашу, но что ни времени, ни денег у нас нет. Краснопогонник хмыкнул: "В самую точку попали. Эки только этим в свободное время и занимаются, разумеется, те, что в свободной зоне вкальвают. Собирают анашу и переправляют ее, частично конечно, политическим, а те готовы ее всю отдать за буханку хлеба. Им хлеб нужнее, чем забыть".

Краснопогонник встал, подошел к своему другу, храпевшему на полу, и вытащил у него из кармана галифе комочек анаши. Протянув нам комочек, сказал: "Вот, берите. В следующую субботу притащите сюда хлеба, сала, ну побольше съестного. Вы мне ситного, я вам анашу. Честь по чести. Хотя, какая тут честь..."

В его словах было столько неподдельной горечи,

что я против воли, прощаясь, протянул этому краснопогоннику руку.

Почти весь обратный путь протопали молча. Только раз я сказал: "Знаете, лучше с кроликами дело иметь". Да потом Малашин, отвечая нашим мыслям, вдруг сказал: "Политические... не знаю я, как о них думать... Может, они против колхозов... Знаете что, придем в субботу. Может, часть жратвы, что мы принесем, им все-таки пойдет. Вы как хотите, а я приду".

НЕОБЫЧНЫЕ УЧЕНИЯ

Однажды, это было поздней осенью 1968 года, из штаба просочились сведения о ночных стрельбах. В общем, во всем этом не было ничего странного, если бы в оружейку не пришел приказ комполка выдать вечером личному составу полный боекомплект, то есть боевые патроны к автоматам, диски к пулеметам, боевые гранаты к гранатометам. Обычно же на учения или попросту на стрельбы шли без боеприпасов к личному оружию. Автоматы на стрельбах казались лишним грузом. Это вошло в привычку. Автомат был дорог солдату только во время караула на посту. Там он был заряжен и мог спасти жизнь.

Насколько мне помнилось, боеприпасы к личному оружию нам выдавали дважды: раз до этих стрельб, к началу израильско-арабской войны, и второй — после стрельб, когда наши войска вторглись в Чехословакию. Тогда всё ожидали, как ожи-

дают удара в спину, нападения китайцев. И тогда, как и во время этих стрельб, мы почувствовали, что оружие существует не для того только, чтобы защищаться, но и чтобы убивать самому. Это было особое чувство. На посту солдат окружен тишиной. Он один. Поста покидать не может, оглядеть же его разом невозможно. А когда человек думает только о защите, он боится. Здесь было другое дело. Мы ехали в поле и впереди был Китай.

Ожидая на своих койках тревоги, мы всё спорили. Спорили бойко и свирепо, как, наверное, делали наши предки двести-триста лет тому назад. В такие минуты люди обычно бывают искренними. Как будто вышло из подсознания, стало осязаемым это, вообще-то, редко произносимое слово: Россия. Вся шелуха отваливалась в эти минуты. Для нас было ясно одно: мы — русские, они — китайцы, и они хотят забрать себе наши земли, русские земли. Отчетливость этого определения вызывала ярость и жестокость.

Через минут двадцать после объявления тревоги, волоча за собой шеститонные орудия, уже выходили из орудийного парка тягачи. В моем расчете тревожным был только Николай Степаненко. Этот парень не попал в высшее учебное заведение из-за своей искренности: он был верующим и не скрывал этого. Поэтому, кстати, он и в части по должности дальше подносчика не пошел. Его тревога казалась странной. Степаненко трусом никак нельзя было назвать, да и кроме того никто в эти минуты не боялся, все казались себе неуязвимыми и всемогущими.

Когда остановились и нам дали приказ о подготовке к стрельбе, только слепой да неуч не замети-

ли бы, что стволы глядят на Китай. А когда из КП пришли прицел и дистанция, по батареям прошел лихорадочный шумок. Снаряды будут грызть китайскую землю в одиннадцати километрах от границы. На фланги полка были посланы пулеметчики и гранатометчики. В секунду, когда орудия осели после первого залпа, из всех глоток вырвалось что-то наподобие торжествующего хрипа. Во время перерывов в стрельбе ребята успокаивали свои взбесившиеся нервы отборнейшим матом. У нашего орудия молчал только Степаненко. Как положено командиру орудия, да и просто по дружбе, я присел возле Николая и спросил: "Чего это ты?" Когда он ответил мне, я подумал, что чертовски хорошо, когда тебе верят и все кругом знают, что ты не донесешь. Степаненко мне сказал: "Гляжу я на вас и вижу, что вы в настоящий час только солдаты, выполняющие приказ. Людей, человек в вас нет. Быть может, тот снаряд, который я только что засунул в этот ствол, свалился на ихнюю деревеньку и разорвал в клочья ихнего мальчика. Или осколок вырвал живот беременной женщине. И я не могу не думать об этом, не могу этого не видеть".

Он говорил громко, слишком громко. Это единственное, что я тогда понял. Я зажал ему рукой рот. Сказал: "Молчи. Подноси болванки, но не заряжай".

Он улыбнулся, как люди улыбаются, когда кого жалеют, и ответил: "Не поможет. Ты все равно не поймешь. Для тебя долг есть слепое повиновение. Поэтому ты только солдат, а не человек и солдат".

Степаненко говорил, будто сидел за кружкой пива. Его выдавал только голос, он рос и заострялся. Я опять его не понял. Раздражение от непонимания

заставило меня сказать: "Хватит. Иди за снарядами. Приказываю!"

Он улыбнулся и пошел.

НЕМНОГО О ЛЮБВИ

Как-то мы возвращались из трехдневной командировки. Оборудовали поля для мишеней. Немного заблудились и не успели к ужину в часть. Когда нам на голову свалилась дальневосточная ночь, стало невтерпех. Остановились возле первого же попавшегося на глаза домика. Толкнули дверь. Зашли. Хотели крикнуть: эй, хозяйева, есть ли поесть чего для защитников родины. Но не успели. Глаза запретили. На полу грязной комнаты без мебели сидел мальчишка лет шести. Он катил по полу пустую бутылку из-под спирта. Увидев нас, мальчишка встал на тонкие ноги. Голодного человека легко распознать. Голодного ребенка еще легче. У него были взрослые глаза, в голосе была жадность и деловитость. Он сказал: "Хлеб у вас есть?"

Каждый, пряча глаза, стал доставать из вещмешка остатки своего сухого пайка. Помню, мне и другим захотелось побыстрее уйти и побыстрее все забыть. Малашин нам не дал. Он опустился на корточки перед мальчишкой и спросил, как обычно спрашивают взрослые: "А где твой папа?"

"Где? — переспросил, словно издеваясь, мальчик. — Ушел он. Был таким, как вы, солдатом. А мама в кладовке лежит... Пьет она. Бабушка с дедушкой ее из дому выгнали. Другие папы нас не хотят".

Малашин открыл дверь кладовки, постоял, то ли вглядываясь в лежащую там молодую женщину, то ли пытаясь услышать себя самого. Затем спросил будничным голосом: "А ты хочешь иметь меня папой?" Мальчик недоверчиво кивнул.

Когда мы вышли, я сказал ему: "Для чего попусту дарить надежды?" Малашин ответил: "Не попусту. Я хочу им помочь. Человек же я".

Мы не верили. А он помог. Подарил жизнь двум людям. А после оказалось, что и самому себе.

КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

В течение года учебы курсанты учебсвязи жили, чтоб только выжить. Лица, и так грубые — грубели еще больше, нежные — черствели. В учебке среди нас было два еврея из Львова, вернее один был изпод Львова, другой — из самого города. Первый был здоровый и веселый мальчик с подходящей к его характеру фамилией Веселовский. Второй был по виду и по существу городским чистюлей, с мягким телом и манерами, и фамилия его была Райш.

Малашин и я чаще всего водились с Веселовским. Вместе с ним бегали в самоволку за бутылкой водки или же за самогонкой. Анекдотов Веселовский знал уйму и соскучиться с ним было просто невозможно. Однако веселье не помешало ему стать комсоргом взвода, а заодно и кандидатом в члены партии. Впрочем, мы не глядели на него косо: ну, хочет парень хорошо пожить... Подумаешь, пусть себе прет по жизни как хочет. Его дело.

К Райшу относились просто никак. Что был он, что его не было — все одно. Иногда он угощал нас, — вероятно потому, что мы дружили с его другом и земляком Веселовским, — печеньем, которое ему присылали из дому. Мы брали. Спасибо не говорили. Если симпатии нет, так чего и говорить? Так все и шло. Райш, как и некоторые другие до него, уснул на посту. Другие, в общем, отделялись несколькими сутками ареста. Райшу же не повезло. В часть прибыл новый замполит. Как говорится: новая метла по-новому метет. Новый замполит потребовал для Райша примерного наказания. И заодно решил, что осудить его должны его же товарищи по роте.

Объявили о комсомольском собрании, на котором будет совершаться товарищеский суд. Сон на посту чаще всего карался дисциплинарным батальоном (дисбатом). Но мы думали, что на этот раз новый замполит ткнул пальцем в небо. Комсоргом роты ведь был друг и земляк Райша Веселовский. Комсомольское собрание провели в послеобеденное время. А когда вместо плаца или класса вас ведут в комнату, в которой можно вздремнуть, делая вид, что бодрствуешь, то никому ни до кого нет дела: хоть расстреливай. По крайней мере, мы с Малашиным так думали.

Первым выступил, как полагается, замполит. Что он скажет, всем было заранее известно: низкий поступок, чуть ли не предательство, примерное наказание и прочее. В общем, я был с ним почти согласен. Если каждый будет спать на посту — какая же это армия? Но я знал, что сержант Райша не давал ему спать несколько суток, а после, не дав отдохнуть, зачислил в наряд. Сержант действовал не по

уставу. Доказательств не было, но несправедливость была налицо. Я был за Райша. А Малашин, сидящий возле меня, весь просто горел. Это был, и, думаю, есть человек из тех неистребимых русских людей, которых можно сломать, но не согнуть.

После замполита выступил Веселовский. При первых его словах собрание, которое я считал сонным и нечутким к справедливости, загудело. Возмущенно, как может только гудеть народ. Веселовский повторял слова замполита и в конце своей речи потребовал для Райша несколько лет дисбата. В ответ мягкотелый Райш встал и сказал: "Я вас всех презираю. Можете делать со мной все, что хотите. Вы несправедливы, и я спокоен". Быть может, эти красивые слова Райш взял из книги или учебника, но это дела не меняло. И все, вероятно, и замполит, если только он не потерял человеческое лицо, почувствовали к Райшу уважение.

Малашин пробовал говорить, но у него ничего не вышло, он слишком волновался. Я же был спокоен, так как считал, что как бы там ни было, а сон на посту — вещь плохая. Я взял слово и аккуратно доказал собранию, что то, что случилось с Райшем, может случиться с каждым. Стоять без предварительного сна сутки на посту — физически невозможно.

Впрочем, мои слова были лишними. Все и так были за Райша. Он не попал в дисбат. Собрание его оправдало. А от имени командира части замполит дал ему пятнадцать суток гауптвахты.

После окончания собрания Малашин избил Веселовского. Малашину дали пятнадцать суток. Когда Малашин и Райш вышли из камеры, они стали лучшими друзьями. Друзьями они и остались.

КРЕСТ

Это произошло во время осенних учений. Несмотря на грохот орудий и скрежет гусениц тягачей, у всех было умиротворенное настроение. Не было ни духоты лета, ни ледяного зимнего ветра. Воздух был нежен и тонок. Все растущее было покрыто багрянцем с тысячью оттенков. Когда, наконец, были отстреляны последние снаряды и выкопаны последние окопы, наступило то затишье, когда хочется, простирнув гимнастерку, повесить ее сушиться на ствол гаубицы.

Довольные хорошей стрельбой офицеры будто случайно уточнили, что сбор будет только к вечеру, и все, радостные, устремились к короткому забвенью военной жизни. Кто валялся на траве, кто, смастерив леску из суровых ниток, а крючок из булавки, шел к речушке, мелкой, но видимо, богатой рыбой, кто выгаскивал из потайного места в тягаче бутылку самогона, чтобы отпраздновать короткую волю. Я и еще четверо парней из моего расчета решили исследовать окраины полигона, тем более, что несколько дней тому назад разведка донесла, что в двух километрах от наших позиций чернеет большой сруб. Из нас городскими были я и Сверстюк, парень, на которого нужно посмотреть раз сто, чтобы запомнить.

Сруб оказался заброшенной церковью. Крест на ее крыше покосился, но еще держался. Тишина вокруг сруба была какой-то глубокой и мягкой. Такое ощущаешь, когда проваливаешься в милый сон, или когда вспоминаешь детство. Глядя на церковь, я почему-то решил, что построили ее первоходцы. Был у них, у русских первоход-

цев, обычай: сначала строить церковь, после баню и только напоследок жилище для принятия пищи и отдыха.

Оглянувшись на ребят, я заметил, что все, кроме Сверстюка, сняли пилотки. Затем пришла мысль о собственной неснятой пилотке, стало стыдно, и я резко обнажил голову. Мне, неверующему, было странно ощущать этот стыд, странно испытывать уважение к срубам. Захотелось избавиться от этих тревожных чувств. В церкви пахло старым деревом. Икон не было, только на полу в углу лежал толстый грубый крест. От распятого на нем Христа осталась только скорбно свесившаяся голова. Хотелось почтительно застыть. Я сделал усилие, сломал в себе почтение и сел на пол. Сверстюк выругался матом и добавил: "Ну и дыра. Воняет тут". Остальные трое остались стоять.

Я спросил: "Чего стоите? Верующие, что ли?" Они ответили: "Нет". Сверстюк нагло шаркал, бил подкованными сапогами по стонущему дереву. Во мне росло раздражение. Хотелось встать. И вместе с тем, мне, который не знал, почему люди ходят в церковь, это желание казалось странным.

Сверстюк подошел к лежащему на полу кресту и помочился на него.

Я до сих пор себя уверяю, что только уважение к памяти первопроходцев заставило меня вскочить на ноги, выволочь Сверстюка из церкви и там, в мягкой тишине, избить его, — я сломал ему нос. Осталось острое воспоминание. Что творилось в душе тех трех парней из моего расчета — знают только они.

По прибытию в часть Сверстюк написал на меня жалобу и сам лично рассказал обо всем замполиту.

Трое ребят, бывших со мной и Сверстюком в церкви, сказали, что Сверстюк врет. Нос он себе сломал, споткнувшись в лесу о корень. На меня наклеветал по злобе. Без свидетелей преступления не получилось. Замполиту пришлось проглотить горькую пилюлю. Сверстюку — тоже. Правда, через несколько дней замполит, придравшись к пустяку, дал мне от имени командира части пятнадцать суток гауптвахты.

ТАНКИ

Большие учения свалились на нашу учебную роту поздней осенью. Ветер бил в лицо дождем. Курсанты должны были соединять толстыми кабелями различные связи: аппаратные штабов дивизии, штабов корпусов, может, и армий (нам не говорили). Для прохождения кабеля через дороги рылись обычно канавы. Одна из танковых трасс, через которую нам нужно было проходить, оказалась каменной. Кирки отскакивали, высекая искры. Мне и Воронцову приказали вырезать в одном из редких кустарников рогатины, поднять кабель на должную высоту и держать его так, пока не пройдут все танки.

Мы подняли кабель и стояли, слушали, как от тысяч и тысяч тонн стали задрожала земля.

Воронцов был моим земляком, его деревня — километрах в ста от моего города. Был он парнем работающим. Я мучился с портянками, а Воронцов никак не мог себе представить работу диода. Моя койка стояла рядом с койкой Воронцова. Он не

храпел, и я не храпел. Мы подружились. В редкие свободные минуты наши разговоры текли странно. Воронцов говорил меньше, чем я. Его глаза глядели незамысловато и он весь казался каким-то даже слишком простым. Но я любил его простоту и уважал его мощь, которая, вероятно, пришла к нему от земли. Не видел я в нем тревоги и колебаний. Воронцов молча и с аппетитом поедал в столовой кашцеобразную жидкость, в бане не мылся, а священнодействовал и с превеликим старанием пришивал каждый день к гимнастерке свежий подворотничок. Я, быть может, завидовал Воронцову.

А танки все шли и шли. И ветер все так же бил и бил в лицо. И мы все продолжали держать над дрожащей землей покачивающиеся рогатины. Изнеможение все глубже и глубже проникало в тело. Мы почти обессилели. И все же я не мог не быть околдованным этой катящейся мимо меня мощью. Я чувствовал себя ее частью. Я восхищался.

Это наваждение длилось несколько часов. Затем вдруг наступила резкая тишина. Я перешел дорогу и, опустившись возле Воронцова, сказал: "Вот это сила, а?" Воронцов, опалив меня взглядом, вдруг как закричит: "Лучше бы трактора, сволочи, по-человечески делали!"

Я растерялся. Стараясь сквозь наступившую тьмоту разглядеть его лицо, ляпнул первое, что подвернулось на язык: "Ты что это, про китайцев забыл, что ли?" "Ты мне это брось, — сказал он твердо, — я и без тебя политинформацию каждый день слушаю. Ты мне это брось, я Родину не меньше твоего люблю. Я говорю не о танках, а о том, что они защищают, о том, что мы сами защищаем. К земле нас приковали, тебя — к твоему станку. При дедах

такого не было, при дедах земля была своя, и дед на себя работал. Я вот давеча письмо получил. Мать пишет, что приказали всем оставить только одну корову, потому что, мол, совхоз продаст соломы на зиму только на одну корову, продаст солому за шесть килограммов масла. Солому. Нашли, сволочи, корм! Солому нужно прокипятить, добавить соли да муки. Нашу же солому нам и продают. За масло. Это они довели нас до того, что не хотим на нашей же земле работать! Много мог бы я тебе рассказать, да все равно не поймешь. Ты о народе думай. О тех ребятах думай, что в тех танках сидят и по приказу сами себя будут давить. Танки должны быть, без тебя знаю, китайцев не пустим. Но мы должны радость защищать, а не горе. А его столько, что и замечать перестали. Эх, ты!”

Тишина уже не резала слух. Мы молча лежали, ждали грузовик.

ОДИН КАПИТАН

На втором году службы, когда армейская жизнь беспощадно убила множество приятных иллюзий, я встретился с этим капитаном. Его звали Алексеем Петровичем Баранниковым. Его нельзя было назвать старым человеком, но он был старым солдатом. Нам казалось, что он родился в форме. Он был из тех вояк, которые после марша по осенней распутице возвращаются в казарму в начищенных сапогах. Я только знал, что во время войны Баранников был сержантом, что у него много ранений и

орденов и что ему понадобилось более двадцати пяти лет службы, чтобы подняться до чина капитана. Нам нравилось, что сам командир полка говорил с Баранниковым уважительно.

Когда летом мое отделение послали на полигон строить лагерь для переподготовщиков, — людей давно отслуживших, которых время от времени призывали на месяц-два в летние лагеря, — нашим командиром назначили капитана Баранникова. Полигон почти вплотную подходил к китайской границе. И быть может, именно по этой причине наше начальство любило выводить на него танковые колонны, и устраивало там имитацию атомных взрывов. Впрочем, китайцы со своей стороны делали то же самое.

Перед самой командировкой мне удалось достать горсть патронов, и я ходил каждое утро на охоту. И хотя вряд ли можно было убийство фазанов из автомата на территории запретного для гражданских лиц полигона называть охотой, но мы по-старинке так говорили. Тяжелый фазан уродливо и медленно поднимался в трех шагах из метровой травы. Оставалось направить на него дуло автомата и нажать курок. В близлежащей деревне за фазанов нам давали самогон, водку, спирт, сметану, а иногда даже — полкруга колбасы. Это был рай.

Однажды глубокой ночью, когда возле костра оставались я и мой друг Свежнёв, к нам подсел капитан Баранников. Он спросил: "Где остальные? Уже упились?" Это было правдой, и подобный проступок означал конец командировки, возвращение в часть, а, возможно, и гауптвахту. Баранников добавил: "Ладно, мы не в части, дисциплину можно и поослабить. Доставайте из тайников вашу водку".

Баранников с легкой иронией наблюдал за нашей суетливостью.

Мы пили и закусывали. Скоро гимнастерки показали нам частью забавного маскарада. Нас было трое человек, вокруг нас было не государство с его армией, а красноватая от костра трава. В армии принято называть переподготовщиков партизанами, так как эти оторванные на несколько месяцев от семей тридцатилетние и сорокалетние мужчины часто носят в лагерях гимнастерки без погонов, никак не могут и не хотят ходить строем и, кроме того, часто отпускают себе бороды. Когда в нашем разговоре появилось слово партизан, Баранников сморщился. "Я вас знаю, — сказал он, — вы в пекарне полка собираетесь, много чепухи там городите, словно до демобилизации не хотите спокойно дожить. Чего вылупились, я в особый отдел не пойду, он лучше моего знает. И люблю я его не больше вашего. Мы на фронте его больше немцев боялись. Сколько ребят, прошедших огонь и воду, пропали через него... В снабжении был бардак. Бывало, на наши сорокопятки немецкие танки ползли, а мы в них из карабинов лупили, потому что снарядов не подвезли. Или подвезут снаряды, сбросят их с телеги, а после оказывается, что калибр не тот. И так гибли, глупо гибли. Под кинжальный огонь дивизии бросались, потому что нужно было к седьмому ноября ту или иную позицию взять. Десятки, сотни тысяч людей гибли. При мне один майор уговаривал начальство, потом бросил трубку, плюнул на карту и застрелился. Не хотел даром губить людей. Другой майор пришел — и погубил. И сам погиб. Я одиннадцать раз ранен и контужен. Восемь раз — глупо. Чего вылупились? Вы даже не

понимаете, что значит глупо погибнуть. Вы вот людей называете партизанами, даже не подозревая, что их оскорбляете. Партизаны! Мы их на фронте за людей не считали. Не только потому, что они стреляли из-за угла и в спину. В конце концов, противник есть противник и его надо уничтожать всячески. Я их не любил и не люблю, потому что за каждого убитого немца или полицая расстреливались сотни наших людей, женщин и детей. Потому что, оправдываясь перед начальством, эти бородатые лоботрясы убивали одного немца, а докладывали, что прибили сто; потому, что не было у этих партизан законов войны. Моя мать жила во время войны на оккупированной территории. Часть продуктов забирала немцы. То, что оставалось, забирала партизаны. Мать была одна, она все и отдала. А у соседки Меланихи было на прокормлении четверо душ. Муж на фронте. Она не могла отдать последнее. Партизаны пришли, назвали ее предательницей, деда убили, ее изнасиловали, все забрали и ушли. Защитнички! Я знаю, что война — зло и что зло порождает зло. Это нормально. Но всему есть предел. Меланиха, чтобы все не умерли с голода, сама, своими руками зарезала одного и кормила им остальных. Потом повесилась. Оставшиеся дети разбрелись. Кто во всем виноват? Разве только немцы? Вы подумайте, как следует подумайте”.

Капитан помолчал, потом добавил: ”А Родину все равно нужно любить”. И ушел к себе в палатку.

Мы со Свежнёвым сидели как оглушенные.

НА ПРИЦЕЛЕ ЖЕЛТЫЙ БРАТ

Однажды зимой нашу роту послали на лесозаготовки в притаежные леса. Обычно после обеда мы со Свежнёвым бродили, ища дичь. Двадцать обмененных на водку патронов превращали нас в охотников. Благодаря компасу мы могли отойти достаточно далеко от наших землянок. Как-то, болтая, мы зашли, вероятно, слишком далеко. Нас остановил крик: "Стой, руки вверх!" Затем мы услышали щелчок затвора, посылающего патрон в патронник. Человеку, стоящему позади нас, теперь было достаточно нажать на курок. И было страшно глупо стоять так в лесу с поднятыми руками и чувствовать, как струйки пота щекочат лопатки. Наконец, повернув головы, мы увидели пограничников и разразились отборнейшими ругательствами. Все же, для надежности ребята из погранвойск не только проверили у нас военные билеты, но и спросили, как зовут женщину, торгующую в селе самогоном. Получив нужный ответ, убедились, что мы не китайские диверсанты. Один из пограничников, прощаясь, сказал: "Не ходите дальше. В километре отсюда уже желтые бродят. Прошлым месяцем их штук двадцать, все пьяные в доску, к нам в гости пришло. Псы их наши почуяли. Мы их всех и прикончили". Тут лицо парня стало задумчивым. Растягивая слова, он добавил: "И мы двоих потеряли".

Как только пограничники скрылись за деревьями, мы со Свежнёвым где стояли, там и сели. Мне вспомнились снаряды, летевшие в неизвестность, и нестерпимо захотелось увидеть своими глазами вооруженного китайца, врага.

Сколько мы шли — не помню, вероятно, долго. Все время хотелось проверить, действительно ли патрон загнан в патронник. Когда мы вышли на опушку, увидели примерно в пятистах метрах десять фигурок. Это были китайцы. Бог знает, что во мне заговорило, быть может, совесть, быть может, самолюбие, но мне показалось, что я должен подвергнуться опасности, должен хотя бы для того (так мне казалось), чтобы после с более спокойной душой посылать снаряды, куда мне прикажут. Я сказал Свежнёву, чтобы он встал за дерево и начал стрелять, если кто из китайцев начнет поднимать оружие. Вытащив из кармана шинели театральный бинокль, я двинулся вперед. Китайцы остановились. Я видел в бинокль их лица. Это был патруль из десяти человек. Они были без погон, без знаков отличия. У девяти были карабины и только у одного автомат Калашникова. Китаец с автоматом, вероятно, офицер, достал из висевшего на боку футляра полевой бинокль. Мы смотрели друг другу в глаза. Этот китаец был врагом. Он мог меня убить, и я мог его убить. Но мне совершенно не хотелось этого делать. Я кивнул ему головой, повернулся к нему спиной и пошел к лесу.

СЛАБЫЙ

Как-то, уже после демобилизации, оказавшись в командировке в Подмоскowie, я поселился в двухместном номере тусклой провинциальной гостиницы. Моим соседом оказался Сергей Федорович

Лозовский. Мы распечатали по бутылке, достали закуску и выпили. Пили не для веселья — для беседы. И действительно, выпив, разговорились. Оказалось, что служили мы почти в одном краю, я — под Уссурийском, в семнадцати километрах от китайской границы, а он — на некой станции Ледяной, где-то между Благовещенском и Хабаровском. Выяснив это, прониклись друг к другу еще большей симпатией, и Лозовский рассказал мне про один случай, оставшийся, как он сказал, на его совести.

”Странное дело, — начал он свое повествование, — когда сломаешь челюсть такому же мордвороту, как ты сам, остаются шальные воспоминания, а тут, можно сказать, ничего особенного не произошло. Ну ровным счетом ничего особенного, если не брать в расчет совесть. В общем, как я тебе уже сказал, был я на службе при межконтинентальной ракете. Сам должен знать: силос и в нем эта сволочная ракета, а вокруг да около, да под землей комплекс прицельных и пусковых устройств, приборы управления и прочее. Все это требует людей. В основном берут в ракетные части ребят со средним или с незаконченным высшим образованием. Оказался в моем отделении и этот самый Сергей Кожемякин. Откуда он только взялся на этом свете?! Теперь знаю... У него было незаконченное высшее. Он мне рассказал, что сам бросил физмат. Что-то там показалось ему неинтересным. Ты встречал людей, которые задают никем не задаваемые вопросы? Вот он такой и был, этот Кожемякин. Его было прозвали в части ”князь Мышкин”, но по-настоящему пристала к нему только кличка ”слабый”. Он казался слабым, этот Сергей, неприспособленным для жизни. Кожемякин, понимаешь, во что-то верил. Не

в Бога, это можно было бы, в конце концов, понять, а в человека и в слово! Он мог вдруг сказать, что в нашей советской конституции есть правильные статьи, которые не исполняются, и что это чрезвычайно плохо. Сам понимаешь, слушать подобные изречения возле межконтинентальной ракеты не очень удобно. Не знаешь толком, что делать. А в глазах у Кожемякина жила раздражающая честность, некривление души. И вот однажды на теоретических занятиях все и началось. Наш полковник Васюков в присутствии замполита объяснял, что после первого залпа по Соединенным Штатам личному составу нужно, не помню точно, тридцать три или тридцать четыре минуты, чтобы подготовиться ко второму. А так как американцы после нашего первого залпа уничтожат нашу точку, кажется, в тридцать минут, то личному составу, всему коллективу, нужно произвести второй залп в двадцать девять с половиной минут. Васюков говорил и говорил. За окном было пятьдесят ниже нуля, а в ленинской комнате сладко грели батареи. Голос Васюкова для большинства был шелестом ветра. И вдруг раздался честный голос Кожемякина: "Товарищ полковник, разрешите вопрос? Я что-то не понимаю. Мы же ведь не нападаем, а только отвечаем ударом на удар. Я готов умереть за Родину, но только защищая ее, а не разрушая другие страны и континенты. Пусть мы успеем за двадцать девять с половиной минут дать второй залп и погибнуть через тридцать секунд, война есть война. Но повторяю, чего я не могу понять, это — как, защищаясь от нападения врага, мы вообще сможем успеть дать два залпа?"

Васюков и замполит переглянулись. Быть может, все и прошло бы, если бы два-три человека вдруг не

заинтересовались поднятым вопросом. Кто-то спросил: да, как это так, мы что, будем нападать или обороняться? А Кожемякин воскликнул с озорной в голосе: "Так как же, товарищ полковник, что же происходит, кто же мы: защитники Родины или агрессоры? Странно ведь получается".

Это озорство и погубило Кожемякина. Через несколько дней поднялась гнусная метель, одна из тех, когда ветер гонит и гонит в лицо замерзшие снежинки. Вместо того, чтобы, как было положено по расписанию, погнать нас на плац, офицеры объявили о внеочередном комсомольском собрании. Все буквально завывали от восторга — батареи ленинской комнаты мнились раем. В быстро установившейся теплой сонливости комнаты никто толком и не заметил, как на середину ее вывели Кожемякина, как стали его обвинять во всех смертных грехах; кажется, даже был штамп: подрыв боеспособности СССР.

Короче, всех пригласили исключить Кожемякина из комсомола. Я был такой сонный, что механически поднял руку. Все ее подняли. В течение последующих недель Сергею давали без передышки наряды вне очереди. Он спал два-три часа в сутки. Наконец, он не выдержал. Моя уборные, он не мог стерпеть издевательства надсматривающего над ним офицера и вывалял его в дерьме. В тот же вечер Кожемякина отправили на гауптвахту. А в казарме его фамилия впервые выговаривалась с уважением в голосе. Таковы часто люди: они понимают поступок, продиктованный отчаянием, а кристальную честность по отношению к самому себе называют слабостью.

Кожемякина я больше не видел, никто в части

его больше не видел. Но о нем не забывали. Однажды, много месяцев спустя, кто-то из нас, фамилии не помню, тоже поднявший тогда на комсомольском собрании руку, сказал: "Не хотели они Кожемякина за слово посадить. Они подождали и дождались нетерпения его честности".

"Вот как дело было, — договорил Лозовский, — на совести он у меня остался, этот Кожемякин. А если на совести, то значит — разбудил он во мне что-то, много чего разбудил".

Мы с Лозовским молча чокнулись и молча выпили за слабого человека.

СТАРУШКА

Однажды меня, Малашина и еще двоих ребят послали на стрельбище проверить сигнализацию. Главный у нас был зампотех, который и собственный мотоцикл не мог починить. Это был офицер лет тридцати. Он любил говорить: „Безнадзорный есть безнаказанный. Я буду тебе говорить, проповедовать, а ты должен будешь слушать и исполнять. А не будешь — раздавлю, как клопа". Наша воинская часть не радовала его глаз, гарнизонная жизнью опустошала его душу. Свою зарплату он пропивал, потом занимал, чтобы купить что-нибудь детям. Хотел ли он повышения, карьеры, славы? Наверное, нет. Мне часто казалось, что ему, в сущности, хочется только одного — чтобы жизнь побыстрее прошла.

Но был в этом офицере и другой человек, ис-

кусственно созданный, инкубаторный. На политинформациях, политзанятиях или занятиях в оружейной комнате его чахлый голос вдруг приобретал резко-визгливые интонации. Он начинал орать, что на земле никогда не было ничего лучше, чем наша советская власть, и тут же добавлял, что всякий, кто не верит в это, будет раздавлен, и приводил слова Горького о том, что если враг не сдается — его уничтожают. Он так часто повторял отрывки из произведений советских писателей, революционеров, генсеков и прочих, что наверняка забывал, что произносимые им тирады и монологи не принадлежат его уму.

”Вот так и получается, — говорил я иногда, — что ему, с одной стороны, жить на белом свете не хочется, а с другой — этот кажущийся мир, в котором он иногда пребывает; он ведь искренне орет, что нет счастливее его на этой планете”. Малашин в ответ на это обрывал меня: ”Выходит, что ты, кроме всего, еще и жалеешь нашего зампотеха? Хорош! Да он со всей своей искусственностью оторвет тебе голову и не пикнет. Я с тобой не согласен: что бы власть или другое там ни делала над мужиком, если он настоящий человек — он им и останется, что бы ни произошло. Нас всех пытаются засунуть в этот самый инкубатор, но есть я, есть ты, есть полроты. Ты приглядись. А зампотех просто сволоочь, и весь сказ”.

Лицо зампотеха, свирепое и деловое в части, пожитейски заскучало, как только грузовик выехал на большую дорогу. Сигнализация на стрельбище, как всегда, барахлила, и мы провозились с ней до позднего вечера. А на обратном пути сели аккумуляторы грузовика. Становилось темно, из Китая шли грязные тучи, а где-то за дальними сопками,

вероятно, уже шел дождь. От мысли, что в эту самую минуту кто-то в столовке полка преспокойненько уминает наш ужин, сводило животы и приводило в бешенство. Оставив двоих караулить грузовик, я, Малашин и зампотех отправились разыскивать телефон. В первой же попавшейся деревеньке постучали уверенно, по-солдатски, в окошко опрятного старого домика. Вышла и пригласила нас войти старушка, такая же чистая и опрятная, как и ее домик. Таких пожилых людей обычно не замечаешь в толпе, но если взглядишься в них, то не можешь не поразиться их уму и опыту, отражающемуся в полинявших от времени глазах. Старушка обрадовалась незванным гостям, накрыла на стол, налила очищенного самогона, угостила копченой свининой — лучшим лакомством края. "Ну, что бабушка, — спросил ее Малашин, — справно живешь? Не скучаешь?" Спросил, чтобы доставить старушке удовольствие, а вышло другое. Старушка села, сказала, не повышая голоса: "Плохо живу. Все мы плохо живем. Я старая, слишком много повидала, чтобы бояться. Умер во мне страх раньше меня. Россия богатая, а народ бедный. Будто мы с землей, а на деле безземельные. Нет правды, народ замучали. При царе куда лучше было!"

Зампотех, как бы очнувшись, заорал: "Врешь, старая, врешь! При царе народ угнетали, капиталисты были. Потому революция произошла. Анти-советской агитацией занимаешься, старая. А ты знаешь, что тебе за это будет?" Глаза зампотеха горели, как во время политзанятий. Старушка спросила его, по-прежнему не повышая голоса: "А сколько нужно растить сына, чтобы он научился мать оскорблять?"

Мне редко приходилось видеть, как люди му-

чаютя от стыда. Лицо зампотеха стало бурым. Старушка продолжала: "Махонькие вы совсем. Не понимаете вы, что надо слушать голос народа и своей совести. Эти голоса, как жизнь, доступны и глухому. А вы только голос вашей советской власти слушать хотите. Оно-то проще, легче. Купил газету, послушал радио, посмотрел телевизор. В нашей деревне до революции безлошадников не было. Пили у нас для веселья — не для забытья. Праздников было много. Были несчастья, без них жизни нет, но работали на себя. Поэтому радость была веселой, товар был товаром, рубль — рублем. А сегодня хлеба в России нет. Узнали бы предки наши об этом — из могил бы своих повстали. В России хлеба нет! Она, матушка, вся покрыта золой, на вас самих зола эта. Не знаете вы, что в вас русский человек живет. Зола сойдет, лихо уйдет. Россия все перетерпит".

Старушка, словно устыдившись своей словоохотливости, добавила: "Заболталась я. А вы, сынки, к управлению идите, там телефон. С Богом. России служите".

Зампотех встал, наклонился и поцеловал старушке руку.

РУСАК АНДРОПОВ

Я служил с ним вместе, мир праху его. Над его фамилией немного подтрунивали, спрашивали: "Слушай, а тот самый, не родственник ли тебе?"

Сергей Андропов был для меня, городского жителя, одним из исконных, неизвестно почему со-

храненных природой, русских людей. Дело было не в том, что он запросто мог вырезать топором ложку, нет, этот Андропов был мягок душой, честен до умопомрачения и вместе с тем жила в нем железная решимость. Его конопатая физиономия встречала жизнь, как ветер — прищуренными глазами. Когда в нашу учебку прибывали квалифицированные комиссии, то члены их удивлялись технической подготовке Андропова, его умению настраивать аппаратуру, управлять ею, а главное — устранять неисправности. Получив специалиста первого класса, Андропов даже не улыбнулся.

Фамилия его многих раздражала. Поэтому крепче к нему прилипла кличка Русак. Учебка наша была расположена далековато от села, поэтому большинство курсантов за год учебы не то что не добивались краткосрочной женской ласки, но практически не видело женщин. Были мечты, кусание подушек, бесконечные разговоры, когда пошлые, когда не очень, о плотской любви. Русак редко принимал в них участие. В свободное время он чаще писал письма невесте. Однажды он сказал нам, пробив некую черту-потолок, отделявшую его от нас: "Слюни у вас текут. Бросьте! Заройтесь в себя и найдите силы выстоять. Комвзводу, этому сопляку, скучно в глуши, ему в кафе сидеть охота да марочный портвейн потягивать, вот он и развлекается, как приказывает ему его душонка. Пришел он сегодня под хмельком, начал сладенько рассказывать, как он из баб вытяжа делает, как тискает их и прочее, понасладился вашей завистью, вашим мученьем, пожелал вам хорошего онанизма на прощанье, вот ему и легче стало. Кто от жизни за добрыми делами прячется, кто за злом укрывается. Он за злом укры-

вається, сволочь он. Коммунист он там или нет а сволочь”.

На следующее утро Русак со всеми ругался, что воду в часть не привезли, что умыться нечем, что могли бы, прежде чем деревянные казармы строить, водопровод протянуть. Еще через несколько дней Русак в общем разговоре как бы мимоходом произнес: “Приказ приказу рознь...”

Кто-то донес комвзводу о словах Русака. Лейтенант не был членом партии, но он был комсоргом роты. Дела это, в общем, не меняло. Через некоторое время комвзвода придрался на вечерней проверке к курсанту Андропову, нашел на каблуках его сапог пыль и вlepил от имени командира части пять нарядов вне очереди.

Русак молча отработал наряды, а затем вновь удивил всех: написал на лейтенанта жалобу, индивидуальную, разумеется. До сих пор всем казалось, что писать жалобы непристойно, стыдно. Но поступок Русака никому из личного состава не показался ни непригожим, ни постыдным. Многим помнилось, как стояли они друг против друга — комвзвода и Русак. Одного почти роста, русые, оба пензенские. У лейтенанта желваки злобы бороздили лицо, в глазах что-то желтое, похожее на желчь. У Русака привычное прищуренное выражение. Оба они были в форме, один — в офицерской, другой — в солдатском хлопчато-бумажном обмундировании, но казались они пришедшими сюда из разных миров. Русака все же кто-то спросил, почему он эту жалобу написал и было ли ему при этом неприятно. Русак улыбнулся и ответил на вопрос вопросом: “Было ли бы вам неприятно, если бы заяц, вооружившись палкой, напал бы на волка?” И всем показалось,

что именно этого ответа они и ожидали. Когда Русак говорил, он произносил то, что всем хотелось сказать, но почему-то ни у кого не находилось слов.

Когда на комсомольском собрании Русак потребовал, чтобы комсорга за пьянство убрали с этого поста, вся рота застыла. Комсоргом был лейтенант и командир взвода. Комсомольское собрание заканчивалось и через несколько минут комсомольцы превращались в курсантов и офицеров, командиров и подчиненных. Но рота застыла не только от испуга, сколько охваченная предчувствием, что нельзя, ни в коем случае нельзя показывать свою радость, что ликование роты по поводу требования погубит Русака. Комвзвода комсоргом остался, но при всей своей злобе не мог тогда не ощутить значение молчания и создавшуюся в роте человеческую общность. Над каждым воинским подразделением можно властвовать только до тех пор, пока солдаты духовно разобщены.

Лейтенант бросился в штаб. Парни, работающие в секретке, донесли до личного состава обрывки разговора комвзвода с комполка, особенно слова командира части. "У страха глаза велики, — сказал командир. — Пить меньше на службе надо. А Андропова ты мне не трожь, в армии личное забывать надо. Он же лучший курсант. Кого я комиссии суну? Тебя? Ты хоть и лейтенант, а вольтметра от патефона не отличишь. И брось эти штучки с пылью на каблуках. Не во времена Жукова живем. На фронт бы тебя, жучка..." Лейтенант был бессилен. Он да старшина роты Милосердов делали все, что могли: наказывали, угрожали, развращали, но разбить создавшуюся общность они были уже не в силах.

За месяц до экзаменов произошло чрезвычайное происшествие. Рота, сев в столовке за обед, заворчала. От блюд и бачков с супом распространялась, окутывая всех, более гнусная, чем обычно, вонь. Чаще всего голод от бескалорийной пищи побеждал ощущение вони и желание вылить кому-то на голову эти бачки, зловонное содержимое которых почему-то называлось супом. Если без сомнений верилось в то, что повара воровали, то трудно было себе представить, что они нарочно портили продовольствие. Жаловаться в дивизию? В округ? Скорее язву желудка заработаешь, чем дождешься ответа. Но в этот обед произошло необычайное. Вся рота, кроме членов партии и кандидатов в члены, встала как один, одновременно. После шептались, что именно Русак дал знак. Шептались так потому, что трудно было каждому поверить, что в нем живет заяц, способный, вооружившись палкой, напасть на волка. Рота встала и вышла, ни к чему не притронувшись. Выйдя из столовой, ребята без приказа построились и застыли.

Согласно армейским правилам отказ от принятия пищи личным составом считается крупным ЧП. Прибежали в панике дежурный по кухне, офицер, дежурный по части. Вскоре весь штаб был возле нашей роты. Начали по обычаю напоминать каждому, что он должен думать о собственной шкуре. Вызывали, приказывали по очереди войти в столовую и начать есть. За отказ давали десять суток гауптвахты и изредка угрожали дисциплинарным батальоном. Никто не выполнил приказа. В каждом из нас, наверное, жили в это время слова: "Приказ приказу рознь". Русак тогда нам их только напомнил, только вымолвил их за нас.

В конце концов, повару пришлось сварить другой суп, менее вонючий, который рота послушно съела. Комполка орал, что желает, чтобы мы все поскорее убралась к чертовой матери, и еще желает никогда нас не видеть и о нас не слышать. Всех наказывать нельзя. Зачинщиков не нашли и почему-то выдумывать не стали. Вскоре мы все стали ефрейторами, сержантами, и распределение разбросало нас по разным частям края.

Только в конце службы, когда я ждал демобилизации, мне рассказали, что во время учений Русак будто уснул под кустом и его подмял под себя танк. Может, так, может, не так. Не знаю.

БЕЗ РЕМНЯ

Когда при воинской части существует своя гауптвахта, то большинству личного состава легче переносить это дисциплинарное наказание. Обычно, гауптвахта или, по-солдатски, просто "губа", находится в том же строении, что и караульное помещение. Ежедневно при смене караульного наряда арестантов выводят во двор, выстраивают, и новый начальник караула, как говорят, поштучно проверяет наличие не только голов, но и всего караульного инвентаря, вплоть до шашек, шахмат, кружек. И если начкар имеет приличные отношения с командиром взвода арестованного, или, как принято говорить в армии, "губаря", то сутки относительного покоя провинившемуся обеспечены. А если, кроме того, часовыми в коридоре "губы" назначены

друзья арестованного, его сотоварищи по отделению или соседи по койке, то и совсем хорошо: сигарет дадут, поддержат веселой беседой, а если деньги есть, то и глотком водки утешат, нет денег — достанут из тумбочки в казарме заветную бутылочку одеколона, приложат к бутылочке несколько кусков сахара да и передадут все это другу-губарю, чтоб меньше он думал о превратностях службы, чтоб легче засыпал. Возьмет губарь перед сном кусок сахара в зубы да и потянет через него в рот одеколон. Глядь — через несколько мгновений вдруг становится ему теплее, а он — сонливее и безразличнее к себе. Сутки прошли — и слава Богу, есть Он или нет Его. Начальство знает, если приставить к губарю часового-друга, то можно с полным основанием, как только его караульная служба отойдет в прошлое, взять этого часового да и засунуть на несколько суток в ту же камеру. Но всех не посадишь, никому это и не нужно. Если проверка ничего не нашла, если начальник особого отдела никого не застал врасплох — то на все остальное можно и закрыть глаза. Чрезвычайные происшествия мало кому нужны.

Официально наказание гауптвахтой идет сразу же после наказания пятью нарядами на работу вне очереди. Для некоторых губа — приятная перемена, для других — мука. Попадая на губу, солдат становится губарем в то мгновенье, когда ему приказывают снять и отдать ремень. Многие, лишившись ремня, чувствуют вдруг своеобразный комплекс неполноценности. По утрам, идя медленно на работу под конвоем, арестант глубоко ощущает всю нелепость раздувающейся без ремня гимнастерки. В сущности, для многих солдат идти без ремня по

деревне все равно, что гражданскому пойти на танцы с расстегнутой ширинкой. Солдат без ремня чувствует себя маленьким и ничтожным. Солдата без ремня можно легче и удобнее оскорбить, можно плюнуть ему в душу — не огрызнется.

Но есть и такие ребята, что с наслаждением опускаются на самое дно солдатского бытия. Такой губарь-арестант вместе с ремнем отдает дисциплину, уважение к себе. После нескольких суток камеры он, грязный, небритый, с черным подворотничком и расстегнутым хлястиком шинели обретает походку наглых нищих, может огрызнуться, отказаться выполнить приказ. Его не смущает ни ночной холод, ни угроза трибуналом, ни лишние пять-шесть суток камеры. С такими начальству приходится труднее, тут надо быть психологом, нужно найти слабое место. На некоторых действует одиночная камера; на других — легкая, но очень грязная работа: чистить полковые уборные, возиться с помоями; третьих — морально калечит тяжелый бессмысленный труд: летом рыть никому не нужные траншеи, зимой бесплодно тыкать ломом мерзлый грунт.

На своей гауптвахте можно получше устроиться и с ночлегом. Арестанту-губарю койка не положена, не положены и простыня с подушкой. Спальные устройства по всему Советскому Союзу носят различные названия. На Дальнем Востоке их два вида: самолеты и вертолеты. Самолет — это попросту несколько сколоченных досок. Лег на доски, накрылся шинелью, помечтал о чем-то далеком и смутном, и можно дожидаться и сна. Вертолет — это сооружение, несколько смазывающее на крест. Чтобы уснуть на вертолете, нужно умудриться вытянуть ноги и разбросать в стороны руки,

застыть и постараться вызвать из глубин своей усталости свинцовый сон. Более или менее резкое движение во сне сбрасывает арестанта-губаря на бетонный пол, и горе тому, кто не проснется. Не одного из не проснувшихся отвозили в госпиталь с воспалением легких и радикулитом. На своей гауптвахте знакомые часовые сами дадут тебе на ночь дополнительную шинель, и, если арестантов на губе мало, то сами притащат из пустых камер лишние самолеты и вертолеты. А благодушно настроенный начальник караула закроет глаза. Разумеется, если только начальник караула не личный враг того или иного арестанта. Тогда лучше попасть к черту на рога, чем на свою гауптвахту.

В соседнем танковом полку девушка предпочла старшему лейтенанту рядового. Офицер посоветовал солдату отказаться от девушки, пригрозив, что иначе солдат пожалеет, что родился на белый свет. Парня эта угроза задела за живое, и он не отказался. Офицер ждал и дождался-таки своего часа. Наступило время учений, и весь полк, оставив в части необходимый минимум личного состава, выступил. Хотя по уставу караульный наряд должен ежесуточно обновляться, этот параграф во время учений почти нигде не соблюдается. Бывает, что одни и те же люди несут караульную службу десять-пятнадцать суток подряд. Офицер, будучи начальником караула, придирался к солдату до тех пор, пока тот не огрызнулся. Офицер посадил солдата в самую узкую одиночную камеру гауптвахты и скрепил печатью дверь камеры. Что было, кстати, явно не по уставу: арестанта положено было выводить дважды в сутки на оправку. На прощанье офицер, который самым банальным образом мстил из-за

девушки, сказал солдату: "Я тебя научу советскую власть уважать".

В течение семи душных летних суток парень не выходил из камеры. От кала и мочи он потерял обоняние, лицо его пожелтело, где-то в щеке забился нервный тик. Когда, наконец, офицер отворил дверь камеры, издеваясь, что, мол, он за это время вдоволь нагулялся с его девушкой, парень то ли не выдержал, то ли уже давно ждал этой минуты, — схватив офицера, стал равномерно бить его головой о стену. Офицер стал инвалидом, а парня по одним слухам расстреляли, по другим — трибунал нашел смягчающие вину обстоятельства.

КАПИТАН ШАПОВАЛЕНКО

Оказавшись в полку, Топорский с удивлением заметил, что боевые офицеры-летчики, рискующие ежедневно жизнью, чрезвычайно остерегались штабистов, особенно из политотдела, а еще более — из особого отдела. Это было для него по меньшей мере неестественно, но он решил позабыть о своих неловких мыслях. Аэродромная служба была тяжелой, мороз не щадил неосторожных, обнаженная рука мгновенно прилипала к ледяному металлу "Мига". Зато кормили довольно вкусно и от пуза, не сравнить с вонючей пищей в пехотных или артиллерийских частях.

Топорский был прикреплен к самолету одного из лучших летчиков полка капитана Шаповаленко. Они подружились. От капитана Топорский узнал многое.

Летчик — не пехотинец, там, над землей, он один. Политотдел остается на земле. Границы остаются на земле. Полет — это другой мир. Для летчика не существует в полном смысле этого слова мирного времени. Понятие о смерти входит в работу. Каждый человек, привыкший к опасности, для политотдела опасный человек. Каждый летчик, будь он членом партии или нет, подозрителен. Штабные крысы, особисты, забывшие или никогда не знавшие, как выглядит штурвал, не говоря о поисковых установках, окружают летчика с одной стороны политзанятиями, с другой — стукачами. Кроме того, особисты пытаются вызвать среди летчиков взаимное недоверие и подозрительность. Например, распустить слух, что командир эскадрильи Боков есть самая что ни на есть "шестерка", что означает на жаргоне стукач, и сослуживцы будут опасаться Бокова, презирать, чуждаться. Только крепкая дружба выдерживает подобные испытания. И есть еще нечто поважнее: над каждым висит угроза возможного отстранения от полетов, отлучения от любимого дела, по сравнению с которым все другие наказания тусклы и ничтожны.

Капитану Шаповаленко не повезло. Как-то, напившись, он заявил, что маршал Жуков в свое время бил палкой мерзавцев из политотдела — и что он правильно делал. Эти слова в самом раздутом виде попали в особый отдел полка, и капитан Шаповаленко был взят, как говорится, на карандаш. Теперь все могло обернуться против него. Неофициальное звание лучшего летчика полка еще могло быть маскировкой, но далеко не стопроцентной. Топорский наивно сказал своему командиру: "А чего тебе бояться? Ты ведь прав". На что Шапова-

ленко грустно ответил: "Право без силы есть праздное, опасное искушение".

Благодаря своему капитану Топорский часто ходил в увольнение. В городе Канске было гораздо больше женщин, чем мужчин. Найти ласку солдату было легко. Женские общежития озарялись светом влюбленных в любовь девушек и женщин. Вокруг города чистым был только снег, жизнь в городе была серой. Некоторые, отчаявшись найти мужа, создать семью, хотели просто ребенка, чтобы ему отдать все свое накопившееся чувство. Была у Топорского одна знакомая, которая перед тем, как его обнять, переворачивала висевший на стене портрет Ленина, с таким лицом, будто была в чем-то виновата перед ним.

Служба внешне шла своим чередом, дни глупо и безымянно чередовались. Топорский не хотел ни о чем думать, но жизнь вокруг была пошло несправедливой. И все по мелочам. Кап-кап. Шаповаленко бьет себя кулаком по голове. Кап-кап. Девушка с виноватым лицом поворачивает портрет Ленина лицом к стене. Кап-кап. Солдату пьяные сверхсрочники набили морду. Пытаясь спастись от боли, он сам напился, залез в сугроб и замерз. Кап-кап.

Однажды Шаповаленко привел его к себе домой. Они выпили. Капитан сказал: "Ты настоящий друг. Есть все же такие люди, в которых не поверить нельзя, такие у них лица, такие души. Слушай, что я тебе скажу. Я люблю Родину. И я люблю летать. Но я бы хотел сейчас лучше находиться у черта на рогах и продавать там грешникам газированную воду. Революция давно кончилась. Сейчас наша власть разворачивается, разворачивает и нас, ибо не дает удовлетворения в работе. Я летаю быстро, но доно-

сы на меня в штаб армии летят еще быстрее. Что будет дальше? Снимут меня с полетов, сделают техником. Я сопьюсь, как это было со многими, которым я, как летчик, в подметки не гожусь. Где они все? Нет их. Я много думаю сейчас, и во мне растет понимание причин этого глубокого всеобщего недовольства. А я не хочу понимать. Мне страшно понимать”.

Вскоре Шаповаленко разбился. Топорский с другими ребятами откалывал ломом куски замерзшего мяса от искареженных стенок кабины. Шаповаленко не было, но его пухлое дело, лежащее в сейфе особого отдела полка, продолжало жить. Особист, старший лейтенант Рыгалов, непременно хотел доказать, что самолет Шаповаленко отклонился от курса и затем разбился не по техническим, а по политическим причинам. Несмотря на то, что начштаба полка, старый вояка, которому нечего было терять, кроме пенсии, сказал, что это уж слишком, что ныне не тридцатые, а семидесятые годы — особист продолжал собирать факты, уличавшие мертвого Шаповаленко. У Топорского он спросил: ”А что сказал вам перед полетом капитан Шаповаленко? Постарайтесь вспомнить”. Топорский хотел было выдумать что-нибудь банальное, но взял вдруг и сказал: ”Сволочь ты, лейтенант, сволочь”. Его посадили на гауптвахту, в одиночку.

ДЕЗЕРТИР

На третьем или четвертом месяце службы, попав часовым на гауптвахту, я впервые в жизни встре-

тился с дезертиром. Он сидел в одиночке, ждал-ждал своего перевода из деревни в город, в дивизию, где его должен был приголубить военный трибунал. Как-то, проходя мимо его камеры, я остановился и заглянул, нарушив тем самым устав карательной службы. Дезертир лежал, закутавшись в шинель, на трех грубо сколоченных досках и равнодушно напевал: "Блевать, блевать, блевать и не просыпаться". Таким образом он, наверное, пререкался с судьбой. Он был щупл, курчав. Под курносим носом безобразной корочкой застыли сопли. Мне стало жаль его. Вновь нарушая устав, я спросил, не хочет ли он закурить. Дезертир кивнул головой. Пока он жадно глотал дым, словно хотел найти в нем забвенье, я подумал: "Из-за него я уже дважды нарушил устав, кроме того, дав ему закурить, показал, что у меня на посту был в кармане табак. Если что-либо узнается — меня посадят в соседнюю камеру. Он же дезертир. В военное время за дезертирство расстреливали на месте. Что же другие должны за него расплачиваться, что ли?" Я чувствовал, что сам себя хочу разозлить. Появилась язвительная мысль: спрошу-ка я, что толкнуло его на предательство, посмотрим, как он вывернется. Он ответил: "Не я предал, меня предали. Меня с детства учили, что наша действительность добро. Иные, я знаю, зазубривают это, чтобы тут же забыть. А я и другие поверили, бросились в мечту. Но нет в нашей жизни добра. Есть добрые правила и бесчеловечность реальной жизни. Меня предали... — в глазах парня была тоска, — меня предали, и мне стало невтерпёж".

Я дал парню еще две сигареты и отошел. И вновь бил сапогами, согласно уставу, коридор гауптвах-

ты. Я чувствовал: приказали бы мне сейчас расстрелять его, и я должен был бы это сделать. Но для меня это было бы не свершением правосудия, а узаконенным убийством. "Не я предал! А меня предали!" Он и не выдержал. А не выдержать — значит быть сильным или слабым? В парне не было ни слабости, ни раскаяния. Он не жалел, хотя знал, что его ждет.

Старики говорят, что правда, брошенная на площади, становится смертельным ядом или чудесным эликсиром, смотря, как употребишь. В ту ночь я не нашел мерила. Служба топтала себе стезю терпения, знания накоплялись, житейская мудрость завоевывала свои права.

В армии, кроме печати, кроме слухов, существует штабная секретка. Парни, работающие или служащие в этом отделе, получают сведения обо всем происходящем в войсковом мире. Дают ли они подписку о неразглашении — не знаю, наверное, дают, иначе не назывался бы этот отдел секретным. Так это или этак, но парни эти любят поговорить и очень в принципе гордятся знаниями, другим недоступными. Например, когда я был в командировке в Уссурийске, один парень-секретчик поведал мне, что когда сбивали разведывательный самолет Пауэрса, произошла неувязка: наш истребитель, не достигнув потолка американца, собирался уйти как раз в тот момент, когда ракетчики открыли огонь. Первая ракета пролетела мимо, вторая — уничтожила наш истребитель, и только третья ракета послала считать сосны американский самолет. Проверить не проверишь, а верится. Секретка есть и остается единственной отдушиной для любопытного солдата.

О дезертирах сведения приходили часто. Были блатные, не сумевшие или не захотевшие свык-

нуться с дисциплиной. Были солдаты, которые после убийств, ограблений, изнасилований пытались скрыться. Иногда им это удавалось. Но были парни, которые дезертировали без особых видимых причин. Помню, особенно долго ходили слухи о пятерых солдатах, уехавших ночью из своей части на бронетранспортере. Они увезли с собой много продовольствия, боеприпасов, карабины, автоматы. Тайга была близко. Их не нашли. Когда они брали оружие и боеприпасы в ротной оружейной комнате, они только аккуратно обкрутили дежурного по роте веревкой и никого из солдат не тронули. Это вызывало уважение. Они исчезли в тайге, как растворились. Они не были блатными, не совершили никакого уголовного преступления. Одному из них оставалось несколько месяцев до демобилизации.

ГЛАЗ СВЯТОГО

Помню, в частях, где я служил, как-то пошла мода на кресты. Ребята, заведомо неверующие, доставали в деревнях крошечные распятия, вешали их себе на шею, кто под, кто над гимнастерками. Офицеры не хотели скандалить и смотрели на это сквозь пальцы, боясь, что наказания дойдут до штаба дивизии и дальше. Кому нужны неприятности! Да и кроме того, парни ведь не серьезно это делали, а из баловства. Кого заставляли выбросить крест, кого сажали на гауптвахту, а там говорили: "Выбрось собственноручно эту гадость и вернешься в казарму". Кому угрожали отказать в отпуске. Постепенно мода прошла.

Во второй роте было два друга — таких, что делили на учениях запасную шинель. Один, родом из Брянска, был православным и не скрывал этого. Говорил: "С трактора меня все равно не снимут, в совхозе специалисты всегда нужны. А в начальство я не лезу". Он грустно смотрел на ребят, которые из страха перед наказанием или попросту из-за равнодушия к надоевшей игрушке выбрасывали кресты. Его друг, родом из Житомира, был атеистом. "Как это можно верить! — говорил он. — Разве не ясно, что Бога нет!" На это его брянский друг однажды ему ответил: "Может тебе и ясно, а вот Эйнштейну — нет".

Житомирца мысль о том, что Эйнштейн мог верить в Бога, поразила в самое сердце. Теория относительности и Бог! Простое и, казалось бы, такое ясное становилось сложным, трудным, глубоким. В столовке полка наводчик третьего орудия красовался, вытащив из-за пазухи крест. Житомирец внезапно, всех удивив, закричал: "Спрячь крест, сволочь! Не веришь в крест — не носи! Я тебя, падло, если увижу еще раз с крестом — задавлю!" Наводчик испуганно отпрянул, быстрым движением схоронил крест. Православный его друг из Брянска, тронув пальцами руку друга, мягко вымолвил: "Чего ты? Не надо! Оставь его, он же не знает".

Солдаты, сидящие за столом, долго молчали. Тут дело было не только в Боге и в вере. Многие из них даже не знали толком, что это такое. Но в эти минуты они (и я среди них) стали вдруг обладателями неожиданно новых ощущений. К нам подступило вплотную что-то новое, пока еще трудно объяснимое, но неизменно важное, притягательное — нечто очищенное от грязи дня с его мелкими выгодами,

нечто возвышенное и настоящее. Все встали из-за стола не такими, какими сели за него. Новое духовное чувство пришло и, казалось, ушло, на самом же деле осталось незаметно жить в нас.

Дежурный офицер сделал вид, что ничего не заметил. Он счел инцидент незначительным. Но он ошибался. Чудные дела преображают нас незаметно, но основательно — изнутри.

Прошли месяцы. Я со своим другом Малашиным попал в краткосрочную командировку в одно село под Уссурийском. Там было время засолки огурцов. Работали, как обычно, по двенадцать часов. Поселили нас в полуразвалившейся хатке. Село обеспечивалось электричеством при помощи худого движка. Он часто портился: то не было солярки, то еще чего-то. Жили в основном при керосиновых лампах. Жители села долгие осенние вечера часто проводили возле потухших экранов своих телевизоров, разговаривали и ждали, что вот-вот дадут свет и появится на экране жизнь. Некоторые женщины молили Бога, чтобы Он починил движок.

Быть может, у одной такой женщины и добыл однажды Малашин икону прошлого века. Он долго любовался ею, затем сунул ее под матрац своего топчана и пошел пройтись по улице. Наш повар собрался готовить ужин. Сырые поленья никак не хотели загораться. Повар начал искать повсюду сухие щепки. Под одним из матрацев он нашел вдруг кусок сухого расписанного красками дерева. Это была икона Малашина. А повар подумал, что она осталась от прежних хозяев, и разрубил икону надвое и из одной половины настрогал щепок. Поленья стали разгораться.

Когда мы с Малашиным, решившие потешиться в

этот вечер купленным самогоном, вошли в хату, в глаза бросилась прекрасно видимая из еле прикрытой заслонкой печки половина иконы. Малашин выхватил ее из огня. От святого человека на ней оставался глаз, да обуглившаяся одежда. Огонь коснулся и глаза. Он был странным, этот глаз. Краска вспучилась. Было ли так раньше, не было ли, теперь сказать было трудно, но глаз смотрел с глубоким и мягким упреком.

Малашин с поваром начали ссориться, затем — драться. Из губ у них потекла кровь. Потом они вдруг остановились. Освещаемые лампой и пламенем из печи, глаз святого человека и капли крови на полу вызывали в душе не совсем понятное чувство.

Солдат дерется по пустякам, он не бережет себя и других.

Тут вновь что-то произошло.

Мы все чувствовали себя виноватыми.

РАВНОДУШНАЯ ТУМБОЧКА

Какой-то мудрый человек говорил: "Чудес нет, есть каждодневное и есть то, что случается редко". В солдатской жизни, в казарме пристрастие человека к своей тумбочке есть каждодневная данность, равнодушие к ней есть то, что случается редко. Возле койки солдата стоит деревянная тумбочка, в ней находится собственность, на которую имеет право военнослужащий срочной службы. Письма, фотографии, зубная щетка, паста, бритвенный прибор,

одеколон. Бывает, что несмышленный паренек сунет туда и библиотечную книгу, но потом обязательно пожалеет.

Кроме некоторых неупомянутых мелочей, все остальное солдат сдает каптерщику роты с мыслью: пусть ворует один каптерщик, тот, кому, в общем, и положено воровать, а не всякий, кому придет охота. Тумбочка — это солдатское счастье и одновременно солдатское проклятие. Это место, где человек, растворенный в массе ему подобных, может найти самого себя в вещах, принадлежащих ему одному, но это также и место, к которому часто тянутся тревожные мысли, опасения: исчезнет единственное добро, кто-то посмеется над реликвиями. Тело солдата ему не принадлежит. Собственное "я" он может утвердить только, переборов власть уставов, стадию думания об еде, пересилив неотступное тяготение ко сну. Чтобы стать самим собой, солдату нужно приложить немало усилий. Находящееся в тумбочке легко возвращает его к прошлому, которое в гражданской жизни он так мало ценил. В армии чувство любви суживается и растет вглубь. Встретившись уже после демобилизации с одним парнем, служившим неподалеку от меня, в Хабаровске, мы разговорились, и очень скоро речь зашла о тумбочке. Парень и рассказал мне о случившемся в его роте.

У одного солдата умерла мать. Дело обычное, мать и должна уйти раньше сына, это закон. Не желая выслушивать равнодушные соболезнования, солдат промолчал, письмо спрятал в тумбочку. Дня через два-три после получения печального известия солдат, вернувшись из караула, открыл свою тумбочку и замер. К задней стенке тумбочки чьей-то

шутливой рукой была прислонена фотокарточка матери солдата с пририсованными чернильным карандашом буденновскими усами. Солдат спросил: "Кто рылся в моей тумбочке?" Обычно на этот вопрос никто не отвечает, как-то не принято. Но тут ему ответили, что это дневальный роты. Тот стоял у двери рядом с тумбочкой, покрытой кумачом, все — согласно уставу. Дневальный, увидев белое от ненависти лицо солдата, воскликнул: "Чего, чего? Я ведь для баловства, для балов..." Он не закончил слова, кулак свалил его на начищенный до тошнотворного блеска пол казармы, затем руки солдата схватили тумбочку, покрытую кумачом, и обрушили ее на голову дневального. Вероятно, угол тумбочки встретился с виском дневального. Погибли оба, первый — на месте, второй — через некоторое время. А пока он ждал в одиночке военного трибунала, в его камеру внесли, как и положено подследственному, койку и все ту же тумбочку.

Парень закончил рассказ следующими словами: "Дневальный был дурак. Собственность в тумбочке бывает мертвой и одухотворенной высшим содержанием. Дневальный тронул эту святую собственность, через это и умер. Дурак он был, этот дневальный".

Запирать тумбочку советскому солдату строго запрещено. Мол, если человек человеку друг, товарищ и брат, то солдат солдату — и подавно. Все это, конечно, глупо. Замок не для вора, замок избавляет от соблазна. Солдат, лицо материально неответственное. Те три рубля восемьдесят копеек, ежемесячно им получаемые, даны ему для добывания себе полотна для подворотничков, ниток, иголок, зубной пасты и курева. Любить печатное слово по-

хвально. Но покупать книги — на это нет ни денег, ни желания. Остается одно-единственное — библиотека полка, батальона, роты. Куда девать книгу? Носить за пазухой запрещает устав. Можно схлопотать несколько нарядов вне очереди, можно сесть на гауптвахту. Сунуть под подушку, под матрац? Тоже по уставу не полагается. Да и украдут, что неприятно и накладно. Парень, у которого украли книгу, понутив голову, идет в библиотеку. Там ему говорят: "Ты, друг, лицо материально незаинтересованное, поэтому потребовать с тебя возмещения убытков в виде денег мы не можем. Но пока не вернешь книгу, эту самую или другую, равноценную — жить тебе без человеческой мудрости в виде печатного слова". Парень тогда говорит библиотекарьше, она же жена комбата или начальника штаба: "Не могу я без книг. Мне что, украсть ее, эту злополучную книгу?" Ответ жены подполковника или комбата прост и холоден: "Меня это не интересует".

Нужно было послать его защищать Родину, чтобы он стал вором. И он им стал, как стали тысячи, сотни тысяч других парней. Он украл книгу в тумбочке товарища или же, уйдя в самоволку, стащил ее в сельской библиотеке. Не привыкший к воровству, парень от злости на кого-то ударил кулаком по своей собственной тумбочке. Она, равнодушная, ответила ему спокойным гулом.

Солдату, как и всякому человеку, нужна ответственность, что-то, принадлежащее только ему одному, и ответственность ему нужна, скрытая от чужих глаз и рук. Ответственность как-то связана с чувством собственного достоинства. Лишить человека возможности защищать свою ответственность — жестокое оскорбление. Испытал его и я.

Во второй роте нашего полка был один несчастный сержант. Все его одногодки уже демобилизовались, а он все бродил неприкаянный по части. Кроме всего прочего, из его тумбочки постоянно пропадал одеколон. Сержант знал, что в казарме есть десять-одиннадцать одеколоночных алкоголиков, но никак не мог поймать вора на месте преступления. Он открыто радовался, когда эфирные масла, заключенные в одеколоне, сделали одного слепым. "Лез в мою тумбочку, — зло говорил он, — лакал мой одеколон, воровал, сволочь, мое добро. Поделом".

Бог знает, что с ним было до армии. Может, он, к примеру, у себя в селе вкалывал, как владимирский тяжеловоз. После работы в совхозе шел еще работать на свой участок. Хотел купить матери пальто, себе — "ИЖ". И за пот его государство вознаградило тем, что разрушило его село, а население перевело жить в поселок городского типа. И потерял парень свой участок, мечту о пальто, о мотоцикле, мечту о всем том, что могло дать то, что он считал своей собственностью. Он, быть может, протестовал, а скорее всего молчал. И запомнил оскорбление.

Как-то один молодой солдат потерял иголку с ниткой, и, страшно перепугавшись, что на вечерней проверке это обнаружится, бросился к первой же тумбочке и стал в ней рыться, надеясь найти там иголку. Солдат не хотел быть наказанным. Как на зло, это была тумбочка сержанта. Сержант увидел, наконец, вора. Он повалил солдата и стал бить его все той же равнодушной тумбочкой.

Человеку нужно, чтобы принадлежащее ему — ему действительно принадлежало.

БЫВАЕТ И ТАК

Вдова лейтенанта Бондарева Наташа вызывала к себе уважение со стороны личного состава нашего военного городка. Муж ее прошлой зимой (ему было лет двадцать пять) напился в селе и, возвращаясь в часть, забрел в сугроб, где и уснул навечно. Наташу уважали за то, что, как говорили наши деды, блюла себя без лицемерия, была добра и проста. Есть у нас еще такие женщины.

Среди солдат считалось нормальным в краткие часы свободы добраться до женского тела, не помышляя о чувствах, доброте и других сложностях. Не люби, ибо не любим — и точка. А тут рядовой из третьей роты Владислав Репейников стал вести себя как-то странно. Он стал встречаться с Наташей, офицерской вдовой, прямо на территории части. Как-то он, хмельной не от водки, а от чувства, ввалился в казарму и заявил: "Ребята, я влюбился, я люблю ее".

Казарма застыла. Что-то произошло. То ли в голосе и облике Репейникова было много неподдельного счастья, то ли чувство Наташи очищало Владислава от скверны подозрений, но никто не рассмехался, не свистнул, не пошутил грязно и пошло. Репейникова стали поздравлять, словно он получил отпуск, поздравлять с радостью.

Через несколько дней три офицера из нашей части сказали Репейникову без свидетелей: "Слушай, колхозник, слушай и запоминай. Эта баба не по твоим зубам, она наша и для нас, не для твоих грязных рук. Еще раз увидим тебя с ней — сгноим, очутишься в дисбате или на том свете. Понял? Теперь, вонь, проваливай".

Еще через несколько дней дисциплина во всем военном городке рухнула. Солдаты отказывались выполнять приказы, пререкались, кричали, что не будут больше терпеть. Наказания не действовали. Начальство уже знало, в чем дело. Командир полка, старый офицер, понял, что идти против течения было бы глупо — дело стало общим, солдатским. Три офицера были наказаны, прошел слух, что их вскоре переведут в другую часть. Владислав и Наташа поженились.

Любовь не может быть уродливой, ее могут стараться искорежить, мы сами можем поверить, что ее нет, не было никогда. Поверить, чтобы потом когда-нибудь понять, что это сила, перед которой бессильна самая сильная власть.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Стоит солдат на посту, декабрьский ветер прет мороз сквозь караульную шубу, шинель, телогрейку. Тело коченеет, теряет гибкость. Так холодно, что нельзя уже мечтать о теплом солнце. Скрючившаяся фантазия способна изобразить только чумазый котелок, в котором булькает вода, варится будущий чай.

Солдат вдруг вспомнил, что завтра 5 декабря, День конституции. Хоть и праздник не Бог весть какой, но все-таки возможность повеселиться. И тут вдруг вопрос: а дадут ли выходной? Можно ли будет днем спокойно пойти в кочегарку, найти там самое горячее место и прогреть кости в тишине?

Солдат постарался вспомнить, забыв о холоде, автомате, китайцах, был ли в прошлом году выходной 5 декабря. Вспомнил — не было! И выругавшись, сказал: "Тревогу тогда, гады, объявили, гоняли целый день между тревогой и отбоем! И выпить не дали, сволочи!"

Оторвавшись от нехороших мыслей и бросив взгляд на часы, часовой обрадовался: время в раздумье шло быстро. Скоро смена, скоро тепло караульного помещения. Завтра будет праздник. А сегодня есть и еще будет до утра надежда, что дадут, раз в прошлом году не дали, выходной. Может даже, повара по приказу котлеты отгрохают, может даже, у этих котлет будет вкус мяса... Этих "может" и "даже" стало вдруг много-много, и все они были соблазнительные. Кроме того, спрятанная в листках военного билета, терпеливо ждала своего часа пятирублевка. И если завтра будет выходной и если к пятерке прибавить восемьдесят копеек и если к тому же вырваться в деревню на полчаса в самовольную отлучку, то можно будет купить бутылку питьевого спирта.

Возвратившись после окончания караула в казарму и растворившись в строю, солдат почувствовал в себе что-то недодуманное, невысказанное. И как бы очнулся. Кругом говорили о завтрашнем дне, о Дне конституции, но не о ней самой. Парень попытался себе ее представить, попытался сказать о ней друзьям. Слова как-то не шли. У большинства ребят был аттестат зрелости, они любили книги. Кто любил Блока, кто — Есенина, некоторые увлекались Евтушенко. По всей казарме месяца три гуляла книга Юрия Казакова. Каждый повторял другим, что красть ее нельзя. Но вот о конституции никто

толком не мог рассказать. Конституция представлялась неким законом, то есть еще одной обязанностью. Один паренек, стаскивая с плеча надоевший за сутки караула автомат, сказал, как бы закругляя разговор о конституции: "А мне она до лампочки!"

На следующий день, 5 декабря, комполка объявил на построении выходной день. После завтрака всех погнали в Дом офицеров. Шли весело — мечта сбылась. Конституция так конституция, лишь бы дали возможность выпить, да и в Доме офицеров зимой всегда тепло. Сидишь в откидном кресле, со всех сторон плывет и плывет на тебя, пусть пахнущий человеческими телами, но разогретый воздух! Овладевает истома, веки накатываются на глаза.

Сначала на трибуну вышел замполит полка и начал доклад о конституции. Замполита заменил парторг полка. Он повторял, пережевывал слова замполита. Подольше бы говорил, на дворе колотун-мороз. Ко всеобщему облегчению парторг говорил и говорил. Он продолжал перечислять наши права. Тут сидевший рядом со мной рыжий насмешливый новосибирец сказал: "У нас в полку есть еврей, которого не приняли в университет, потому что он еврей, и есть куча нашего брата, кацапья, которую не взяли в институты и университеты только потому, что они сдавали экзамены где-то в республиках, где, как известно, принимают прежде всего местные кадры. Им просто объявили, что они не прошли по конкурсу. Ха-ха. Надеюсь, что они слышат слова о нашей любимой конституции. Жарко им, небось, стало от душевного волнения".

Новосибирец закончил свой монолог несколькими крепкими словами, которые не берусь повторять.

От слов соседа-товарища я вышел из дремоты, оглянулся и спросил: "Ты что, по дисбату соскучился? До дембеля не хочешь, что ли, дожиться?" Тот мне ответил глупо, но благородно: "Я знаю, что ты на меня не донесешь".

Парторг, как отличник, повторял выученное наизусть: "Свобода слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, свобода совести, а также объединения в различные общественные организации..."

Согласно иерархии, после парторга на сцену взобрался комсорг. Этот стал говорить о почетной обязанности граждан СССР — о воинской службе в рядах Советской армии.

Новосибирец, теряя свою насмешливость, буквально захрипел: "Свобода совести, свобода слова — смеет, сволочь, о них говорить! Да я..." Тут моя рука сжала его плечо, сжала изо всех сил. Он замолчал. Он не хотел ни тепла, ни котлет, ни водки. Он хотел свободы.

Когда выходили из Дома офицеров, поджидавший нас капитан заорал, как обычно, команду о построении. Кто-то из толпы выкрикнул: "Чего суешься, капитан, сегодня у нас демократия". Лицо капитана передернулось, на нем заиграли желваки. "Я вам дам демократию! — заорал он — Стною-ю-ю! Стройся! Живо!" Пока шеренги нехотя выравнивались, вновь раздался задорный голос: "Так ведь конституция!" Капитан задохнулся в крике: "Я вам покажу конституцию, сволочи!"

На обеде дали-таки котлеты, и кто-то даже сказал, что в них было мясо. После обеда показали в клубе кинокартину про басмачей. Уродливо толстые басмачи вертели антисоветскими глазами.

Стройные чекисты их без устали убивали. Фильм был плохим, но раз нам говорят с детства, что басмачи мерзавцы, так значит, наверное, так оно и есть, и конституция здесь, вроде, ни при чем.

Вечером один парень выпил полбутылки спирта и стал орать, что все вокруг ложь, что конституция властью не соблюдается и что в таком случае он на эту власть плюет и не собирается ее защищать. Защищать родину — это одно, а защищать власть, которая режет конституцию — это совсем другое. Он еще говорил, что не боится, пусть его сажают, он все расскажет, все и всем. Парень говорил слишком громко. Его спасли: стукнули маленько и засунули под койку.

Пришел отбой. Закончился День конституции. Каждый, бросившись в свою мечту, постарался поскорее уснуть.

РАЗНЫЕ ЛЮДИ

Помнится, на третьем или четвертом месяце службы всю роту погнали к китайской границе рыть укрепления. Была зима. Мороз с ветром. Грунт был, как минерал, недоступен киркам, ломам. Под ночь озябшие офицеры подались в ближайшую деревушку, нас всех распределили по амбарам местного колхоза. Те, у кого были деньги, устремились к ветхому зданию, вмещавшему в себя гастронорм, пивную, закусочную и еще черт знает что. Там было тепло, дымно и пьяно. Тяжелые мышцы еле шевелились, алкоголь глушил изнуренность тела и души, а также мысли о гадостном зав-

трашнем дне. Со мной за столом сидел крепкий мясистый парень с какого-то таежного хутора. Он пил медленно и как-то расслабленно. А рядом радовался нежданному пьяному веселью москвич. Он хлопал таежника по плечу, кричал, что тот его братишка родной и требовал баб. Таежник ему понимающе улыбался: парень был весел во хмелю, а баб, действительно, никто давно и не видел. Москвич, разойдясь, стал описывать любовную страсть женщин различных возрастов, будучи уверенный, что незлобливость его похабства должна быть понятна и весела не только ему, но и всем другим.

Таежник его прервал: "Нехорошо так говорить о бабах, ты бы паренек успокоился, пошел бы спать". На них была одна форма, они подчинялись одному уставу, одной дисциплине, но москвич ошибался, считая, что их жизнь — одна жизнь, что у него и у пьющего рядом с ним те же взгляды на добро и зло. Москвич не понял слов таежника, хотя они были произнесены на русском языке. Он не понял предупреждения. Если бы ему сказали: "Скажешь еще слово — набью морду", — он бы понял. Не сообразив, москвич хлопнул еще раз таежника по плечу и добавил относительно баб другую похабщину. Таежник повторил свое предупреждение: "Разбушевался ты, соколик. Успокойся, не то упокою". Москвич вновь не понял и через несколько минут упал от удара табуреткой.

На следующий день эти разные русские люди стояли рядышком в строю и назывались солдатами.

В течение трех лет всех нас заставляли не столько закалять тело для возможной войны и овладевать военными знаниями, сколько забывать себя. Машина уравниловки работала вовсю. Не просто стать

солдатом, не просто быть готовым к защите отечества, — но не помнить более о своей личности, индивидуальности, стать послушной машиной. Прежде всего нас учили не интересоваться прошлым. Исполнень, но настойчиво нам вдалбливали на политзанятях, по радио, телевидению, в кино, газетах, что все люди всех народов нашей страны чуть ли не с каменного века только и желали стать советскими. Дело доходило до того, что когда какой-нибудь капитан ругал Пугачева за то, что тот не был марксистом, никто не смеялся.

Москвич спал с открытыми глазами, а таежник, быть может, думал: "А черт его знает, может и правда. Сравнить ведь не с чем".

Старые любомудры говорили: "Когда человека гнут — он ломается". Гнуть можно тихо, незаметно, годами. В армии ломание усиливается, в армии, где человек незащищен, власть пытается довести его до кондиции, делает все, чтобы он стал прежде всего советским. Когда русский становится прежде всего советским — он может стрелять в русских людей, если ему прикажут. Он может вообще стрелять в людей, раз у него отобрали прошлое и убедили его в том, что его единственная родина — не народ, не страна, а советская власть.

Внешне старые любомудры как будто правы. Как будто сломали человека. Но вот москвичу понадобилась шишка на макушке, чтобы внезапно осознать, что он не только советский, не только солдат, а еще и русский человек, мало того, что русские люди бывают разные. Он после подружился с таежником. Часто в простом быту познается великое. И солдат сознает, что он русский до мозга костей, до потрохов.

СЧАСТЛИВЫЕ СОЛДАТЫ

Воинский эшелон с призывниками — как бы движущаяся граница, все дальше отдаляющая человека от гражданской жизни. В вагонах сидят люди, никогда ранее друг друга не видевшие. Если бы каждый не получил повестку — не встретились бы никогда, проживи они еще хоть по сто лет. И вправду, какая роковая случайность может столкнуть лбами гуцула и, скажем, южно-сахалинца? Армия.

А вот если напялят на всех обмундирование, стиснут всех в тисках устава, будут водить строем в баню, да на обед, оголят черепа под машинку в честь черт знает какой гигиены — вот тогда действительно все вместе, тогда воистину так повстречались, что и деваться друг от друга некуда.

Моя граница началась во Львове, двигалась через весь Советский Союз и остановилась во Владивостоке, где я вместе со всеми и стал солдатом.

Дни в пути каждый переживал по-своему. Я утешал себя тем, что моя вздорная жизнь и не могла иначе обернуться на данном этапе. И старался как можно больше спать. Один городской, как и я, все не мог простить себе, а заодно и всему миру, что не добрал на экзаменах одного-двух баллов и не прошел в институт. Ко всему его мутило от баланды, которую доставляли из вагона-кухни. Другой, приклатненный парень, рвал струны инструмента, отдаленно напоминающего гитару, и пел об утерянной свободе. Он так долго пел о свободе, что в вагон пришел лейтенант, старший по вагону, и молча разбил вдребезги это подобие гитары. Молчание окутало призывников. Парень, выйдя из оцепенения, стал орать, что не собирается служить родине, которая

кормит своих защитников хуже, чем совхозных свиней, что не собирается любить армию, которая разбивает музыкальные инструменты.

Лейтенант вновь вошел в вагон и сказал: "Я тебе покажу свободу", и разбил в кровь лицо парня. Тот даже не понял, что нужно защищаться. Еще не доехав до конца границы, еще не став официально солдатом — он был уже духовно сломлен.

С верхней полки отделения общего вагона, в котором я ехал, раздался полный иронии голос: "Поняли теперь, бараны, зачем революцию делали? Не поняли? Для того, чтобы в армии не именем царя, а именем народа вам, народу, морду били". К счастью, парня не услышал лейтенант, и никто никому на него не донес. Мне было странно слышать такие слова.

Когда после, уже в части, мы подружились, он мне рассказал, что его отец, украинец-галичанин, четыре года во время Второй мировой войны воевал против немцев. Когда пришли советские войска, стал воевать против них, стал воевать за Родину, как выразился парень. Пришли советские карательные войска — это было в тысяча девятьсот сорок шестом-сорок седьмом годах. Тогда мать отнесла его в ближайший городок к двоюродной тетке. Это его и спасло. Десятки и десятки деревень были снесены с лица земли, тысячи и тысячи женщин, стариков и детей погибли. Боеспособных мужчин либо расстреливали на месте, либо вешали. Отца повесили. Мать изнасиловали и убили. Сестра и брат погибли в горящей хате. Оставшихся в живых погнали к станции, посадили в эшелоны и без отдыха погнали в Сибирь. Участок земли, поколениями принадлежащий их семье, отобрали. Только

несколько лет назад некоторые, оставшиеся в живых, умудрились вернуться в родные места. Они, ставшие уже русскими, рассказали подробно о прошлом. Парень закончил свое повествование: "И вот теперь я служу и защищаю с этим автоматом и с нашими гаубицами власть, которая убила всех моих близких. Служу — а что остается еще делать? А небось русских в тех карательных войсках много было — большинство".

Помню, я тогда взбеленился, сказал ему: "Ты вот русских ругаешь, а ведь им было хуже всех, им и сегодня хуже всех. В нас всех убили чувство, при помощи которого человек различает по-человечески добро и зло. Случился бы теперь бунт где-нибудь в Оренбурге, послали бы нас туда — ты бы не стрелял? Куда бы ты делся!" Галичанин мне ответил: "Против русских я ничего не имею, я про них сказал не со злостью. Ты вот русский, а мне друг. Калушенко — друг, Судак — друг".

Что и говорить, в том эшелоне-границе было много разного люда. Все стали солдатами и большинство дослужило и вернулось домой. Кто по месту прописки, а кто, воспользовавшись наличием военного билета, постарался начать в новом месте новую жизнь.

В том эшелоне было и много странно счастливых ребят, для которых сидеть в набитом битком вагоне семнадцать суток было радостной переменой в жизни. Им было по душе, что бесплатно выдают еду, что можно сидеть, скрючившись, и не работать. Они никого ни в чем не винили. Лейтенант, разбивший лицо парню с гитарой, был для них довольно злым бригадиром — только и всего. Они видели возвратившихся с военной службы односельчан,

грудь которых была усыпана значками, и слышали от них разные веселые истории о случаях в строю, о романтических приключениях на зимних, осенних и летних учениях. Сами демобилизовавшиеся, выдумывая, видимо, начинали верить в свой вымысел. Необходимая в каждой армии дисциплина становилась в их сознании детской игрой в беспощадность. Многие из этих странно-счастливых людей думали, что, мол, лучше перемена к худшему, чем неподвижное зловонное вчера.

НОВЫЙ ГОД

Наступление очередного Нового года празднуется, как известно, повсюду. В армии тоже. Офицеры от младших до старших чинов и званий знают, что напьются все, до последнего солдата. Даже некоторым арестантам на гауптвахте что-нибудь перепадет, если о них не забудут друзья. На работу 31 декабря арестантов-губарей тоже не погонят, если комендант будет в настроении, а начальник караула — хороший мужик. Могут и подтопить. Могут и не глядеть — курит или не курит в своей камере губарь, не говоря уже о том, что совершивший проступок солдат может найти в своей обеденной баланде почти съедобный кусок мяса. Могут даже, но это уж совсем в виде исключения, отпустить на день-два раньше установленного срока. Многое может начальство под Новый год. И, чего скрывать, иногда кое-кому везет.

Бывают и увольнения — так называемые ново-

годние. Но в городе под Новый год солдату в увольнении, конечно, хуже, чем в деревне — в городе много патрулей, и патрули эти злы, как черти. Сам патрулирующий в городе напиться не может — кругом бродят патрули других частей и особые комендантские. Все они как в страшном заколдованном кругу. Потому и злы. Закачается солдат в увольнении, расстегнет пуговицу, забудет отдать честь — тотчас бросятся к нему злые патрульные. Могут пнуть ногой, могут и избить. Солдаты будут бить солдата, потому что он во хмелю, а не они. Лейтенант будет бить солдата потому, что в это самое время капитан, майор, подполковник сидят в кругу своей семьи и пьют водку. Все отравлены несправедливостью! А длительная неправда по отношению к человеку часто вызывает в нем глухую злобу.

”Солдат — тоже человек”, — сказал один из патрульных. И добавил: ”Чего же проще-дать солдату, защищающему в Новый год Родину, выходной день. Дать его после, пусть через неделю. Дать из уважения”. В ответ несколько человек рассмеялось этому чудачеству. Если тебе нацепили погоны, то это, во всяком случае, не для того, чтобы ты критически мыслил, выдумывал себе разные права. Звукосочетание ”выходной день” должно звучать дико в солдатских ушах. У солдата не может быть выходного дня, солдату дается необходимый для его боеспособности отдых. Если из тебя делают цепного пса и заглушают в тебе всякую сознательность, если тебе внушают, что патриотизм — есть беспрекословное послушание, то тоже в целях этой самой боеспособности.

Ребята смеялись над словами патрульного, забежавшего в казарму погреться. Я тоже смеялся.

Но был Новый год. Он был и для нас. В солдат-клубе высилась елка, она была наряжена руками добросердечных офицерских жен, жиреющих от безделья в казенных квартирах. Нас ждал зал клуба, проигрыватель и дюжина пластинок. Кроме того, мы знали, что вечером придут на нашу примитивную танцплощадку те одинокие девушки, которые не дождались приглашения от штатских. Будут и брошенные жены, будут и вдовы, настоящие и соломенные.

Наша часть стояла на краю деревни, и патрульным у нас было раздолье. В деревне солдат в самовольной отлучке не будет бродить, как в городе, неприкаянный, по улицам, не будет, как в городе, доставать через штатского бутылку спиртного, не будет с ней прятаться в подъездах. В деревне солдат всегда найдет кров и тепло. В русской деревне — без особого труда может встретить женщину, которая, лаская его, как девушка, будет относиться к нему в этот новогодний вечер душевно и понимающе, как мать. В наших деревнях еще можно встретить в людях то, что не способна сломать никакая власть — понимание и терпимость. Патруль не столкнется на деревенской улице с подвыпившим, орущим всякие безобразия солдатом, патруль не увидит, бродя по утрамбованному снегу тротуаров, другого патруля. Сам лейтенант смягчится, когда из ворот выйдет мужик и пригласит их к себе радушно и празднично. Смягчится и скажет, привычно оглянувшись по сторонам, своим патрульным: "Ладно, ребята, но я, в случае чего, ничего не видел и ничего не знаю".

Вот так и получилось, что несколько военнослужащих, несмотря ни на что, стали в новогоднюю

ночь людьми, во всяком случае, им это показалось. Вокруг части стояли на постах часовые. Ночь словно замерзла, а в груди не было разогревающей душу надежды. Дело было не в караульной службе: кому-то надо стоять — сегодня ты, завтра — я, да и караульная служба была, это все понимали, так же необходимо, как сама армия. Дело было в том, что сегодняшний день был для часового так же сер, как вчерашний и как будет завтрашний. За много дней до праздника в сердце солдата — молодого совсем еще паренька — копилось ожидание радостного вечера. Не обязательно дать солдату возможность прогулять ночь, можно было сказать ему несколько слов, идущих от души, можно было притащить в караульное помещение елку, пусть елочную ветвь. Придя с поста, солдат попытался бы ради Нового года отбросить от себя накипевшую злость. Но Новый год наступал мрачно, без мечты. В полночь часовой выпустил в невидимое небо автоматную очередь.

БОЕВОЙ ЛИСТОК

В нашу дальневосточную часть приходила газета "Красная звезда", а также местная военная газетенка "Суворовский натиск". Но читали эти газеты только те солдаты, которые не знали, чем еще можно заглушить скуку-печаль, порожденную монотонной и бездушной службой. В основном газеты шли на самокрутки или заменяли байковые портянки. В части даже шли споры: что больше греет ногу —

”Суворовский натиск” или ”Красная звезда”. Это отношение к прессе было хорошо известно и в особом отделе части, и в политотделе. Вероятно, по этой причине солдатскому боевому листку придавалось особое значение.

Боевой листок обычно делается на плотной бумаге и должен отображать жизнь коллектива, отвечать на злобу дня и критиковать лодырей, филонов, вообще, недисциплинированные элементы. Одобряются также и карикатуры на грязнуль, самовольщиков. Но боевой листок должен был быть занимательным. И в этом-то как раз и выходила загвоздка: начальство не могло найти среди верных людей — комсorghов, верноподданных комсомольцев, кандидатов в члены партии, членов партии — подходящих людей, то есть тех, кто был способен наполнить боевой листок более или менее интересным содержанием. Верные годились в стукачи, поднимать руки на собраниях, заниматься подсиживанием, командовать — но никак не думать, не писать. Вот и приходилось начальству искать подходящих людей, как оно выражалось, среди интеллигентского сброда, то есть среди недоучившихся и бывших студентов.

Но начальство вместе с тем знало, что таким людям доверять нельзя. Как мне сказал один подвыпивший офицер: ”У солдата теперь глаз стал дерзким”. Но, в то же время, каждому военнoслужашему срочной службы хочется дожить до демобилизации. Сгноить солдата не трудно — была бы у начальства охота. Никто не спасет тебя. Вот и получается, что рад иной, получив возможность выпускать боевой листок, думает, что сумеет сквозь необходимую ложь просунуть и правду.

И тут же инстинкт самосохранения нашептывает ему: "Оставь плохую нашу власть в покое, думай о себе, думай о том, как сохранить себя". Но бывает, что происходит и чудо — инстинкт самосохранения отступает перед желанием стать свободным человеком.

Был у нас в полку один некрикливый парень по фамилии Багоров. Дали ему выпускать боевой листок. Год писал он, что положено: "К такому-то съезду обещаем..." "Рядовой Клопенко вел себя в столовой недостойно, вырывал у ефрейтора Соломцева его пайку хлеба, за что получил два наряда вне очереди". "Учебные нормативы будут выполнены. Рота обязуется..." И так далее, тому подобное.

Так писал Багоров, пока жестокая душевная икота, которая появляется у человека, долго пишущего неправду и знающего об этом, не замучила его. И боевой листок стал вдруг писать и о деле. Например, об учениях было написано следующее: "Неизвестно, кому это выгодно, чтобы палатки нашей роты были ветхими, чтобы они рвались, и неизвестно, кто получает удовольствие от того, чтобы двадцать пять человек спали стоя в пятиместной палатке. Каждому известно, что на складе полка имеются новые палатки".

Боевые листки не контролировались прямой цензурой. Видимо, политические тузы хотели оставить солдатам иллюзию инициативы. Поэтому выпускающий, как только листок был готов, собственноручно прикалывал его, если в казарме, то обычно в коридоре, если на учениях, то попросту на видном месте. Но как только боевой листок был прикреплен, к нему сразу же бросались комсорг и один-

два стукача. Если в листке было что-либо неудобоваримое для политотдела, то он исчезал самым обыкновенным образом, а выпускающий в политотделе и в особом отделе брался на карандаш. Либо он, так сказать, исправлялся, либо его ждали серьезные неприятности.

На учениях, особенно зимних, стукачи стремятся увильнуть от работы, особенно рытья окопов, стремятся к теплу буржуйки, а не к чтению боевых листов. Поэтому именно на учениях Багоров и выплескивал больше всего правды на бумагу. Рота его уважала, более того, однажды благодаря боевому листку рота объединилась и запротестовала. Все кричали разом, что дырявые палатки на учениях при тридцатиградусном морозе это издевательство. На следующий день должны были быть зачетные стрельбы, должен был прибыть из дивизии генерал с инспекцией. Комполка, видимо, испугался, что рота в знак протеста будет стрелять как попало, может быть, подумал даже, что солдаты могут, чего доброго, пожаловаться генералу. Как бы там ни было, но один из тягачей гнал день и ночь и привез-таки в роту новенькие палатки до инспекции. Рота почувствовала свою силу. Люди ощутили себя людьми. Пусть ненадолго, но думали, что можно бороться за правду — и победить.

После учений в боевом листке Багорова появилась карикатура на одного рядового с драчливым характером. Стукачи, комсорг и прочие верные политотделу люди не заметили, что у рядового было лицо ротного командира, а погоны — эсэсовскими. Ротный прославился в части тем, что, напившись, избивал с дружкой, как он выражался, строптивых граждан, проходящих военную службу. Только к

вечеру кто-то распознал в безобидном рядовом ротного, а потом и эсэсовские погоны. Вся рота, собравшись, хохотала до колик. Ротный отдавал приказы с лицом, почерневшим от злости. Он терял власть над своей ротой. Над ним смеялись, везде он встречал насмешливые взгляды.

За незначительные проступки, часто им и не совершенные, Багоров зачастил на гауптвахту. Всем стало ясно, что ротный хочет подвести Багорова под военный трибунал. Но возмущения со стороны личного состава не было. Было хуже. Смех, ядовитый и пренебрежительный. Он перешел с ротного на всех офицеров. Дисциплина стала падать. В политотделе заматались. В особом отделе, наверное, крепко задумались. Через неделю после выпуска боевого листка Багорова выпустили, ротного перевели на другую должность.

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА

Были летние учения. Перерывы огня встречались личным составом с радостью — можно было лечь на траву, стереть пот и лениво пометать о хорошем. И поговорить. Я разоткровенничался с парнем-ленинградцем. Мы стали доверять друг другу после двух лет совместной службы, когда не раз уже помогли друг другу, и убедились, что каждый мог донести на другого и не только не сделал этого, но заслонил собой другого. Только друзья, наверное, не ищутся и не находятся — а открываются. Был парень как парень, а потом вдруг оказалось, что друг

он тебе, а ты — ему, только как-то не говорили об этом.

Мы с ленинградцем сидели в сторонке и беседовали вполголоса, да поглядывали, не пробирается ли кто с тыла, не хочет ли кто подслушать. Мы, солдаты, опасались доносчиков больше, чем китайцев. Китайцы были недалеко, и они тоже забавлялись стрельбой на полигоне. И тоже боялись доносчиков больше, чем нас. Мы их называли презрительно желтыми братьями, они нас — ломозами, что означает длинноволосые черти. Нам самим эта кличка понравилась, и мы часто так друг друга обзывали. Для нас это было совсем не обидно, скорее забавно, если учесть, что призывников у нас часто стригут наголо. Мы все знали твердо, что если у нас власть не любит критически думающих людей, то это не потому, что она боится, что в случае чего мы впустим к себе китайцев. Она прекрасно знает, что русский человек при любой власти будет драться за свою землю. В 1812 году в России был крепостной строй, а русский человек все равно прогнал Наполеона, хотя, как это у нас бывает, большой кровью.

Мы с моим другом говорили о том, что боеспособность армии не ухудшится, а улучшится, если солдат станет свободным гражданином. Внутриполитические проблемы не имеют ничего общего с армейской дисциплиной. Я могу быть коммунистом, социалистом, демократом, центристом — кем угодно. Моя партийная принадлежность вряд ли помешала бы мне защищать свою страну от китайского нападения. Если бы наш разговор мог подслушать замполит — он бы упал в обморок или тотчас стал бы стрелять в нас. А потом бы доказал, что мы

хотели дезертировать и что он действовал соответственно боевой обстановке.

Наш разговор то и дело прерывался воплями начальства: "Приготовиться к стрельбе!" Мы возвращались к орудиям, и девяностокилограммовые снаряды летели к китайской границе и ложились словно в насмешку вдоль нее, снаряды словно ца-рапали страх и самолюбие желтых братьев. Начальство часто этим занималось, чтобы только произвести впечатление на соседей. Но когда у нас в ближнем тылу погибали часовые или взлетал на воздух тот или иной склад, снаряды ложились и на китайскую землю. Мы мстили.

Во время перерыва мы опять отошли в сторонку и опять начали свой опасный разговор. Мой друг — ленинградец сказал: "Начальство не боится китайцев, оно больше боится нас. Оно боится того, что правда в нас может стать сильнее инстинкта самосохранения".

МАТУШКА — ИСТОРИЯ

Наша казарма, построенная еще в сталинские времена, давно прохудилась. Зимой личный состав мерз от холода и, посылая ко всем чертям уставы, клал поверх одеяла шинель, а летом стены казармы пропускали душную сырость. За военным городком торчали серенькие сопки, напоминавшие всем, что здесь Дальний Восток и что в нескольких километрах лежит китайская граница.

Среди общего недоверия и подозрительности

нас, друзей, доверяющих друг другу безраздельно и безоговорочно, было, как это ни странно, много. Мы собирались в свободные часы в ленинской комнате, распространяя слух, что хотим выпить. В конце концов, несколько суток гауптвахты за принятие спиртных напитков было безопаснее пристального интереса к нам политотдела.

Говорят, что существует лишь то, о чем люди помнят. Мы и хотели знать, о чем люди еще помнят. Выяснилось, что один из нас как-то читал несколько номеров "Правды" за тридцать третий год, кое-кто помнил рассказы стариков, к некоторым попадали иные запрещенные книги. Получалось особое, лишенное пропагандной шелухи знание. Большинство из нас были по воспитанию неверующими, но тот факт, что 12 сентября 1943 года не кто-нибудь, а Сталин официально признал существование Православной Церкви в СССР, нас поразило. Был разрешен Собор, который избрал Патриархом всея Руси митрополита Сергия. Для чего это было сделано и именно во время войны — было ясно: чтобы использовать веру для достижения своих целей. Но не это нас потрясло. Получалось, что признание Церкви в сорок третьем году было невольным признанием властью своей беспомощности. Она не сумела дать русскому народу веру в светлое будущее, новую мораль. Она дала только горе — и все жертвы были напрасны. Было страшновато от наших мыслей, слов. Но мы и гордились ими. Кто-то попытался оправдать власть: власть молода, ей еще нет шестидесяти лет.

Мы все были солдатами, кто был рядовым, кто ефрейтером, кто получил уже сержантские лычки. За нами следили уставы. Вечером кто-то пойдет на

боевое задание — в караул. Он будет стоять с автоматом в руках и буравить взглядом ночь, стараясь увидеть подползающего китайца, который хочет его убить. И было бы так просто сказать себе: родина и власть — это одно. Но нам нужна была правда, мы хотели быть людьми. Поэтому мы не могли оправдать свою власть. У нашей власти не было пощады даже к детям. Особым указом от 7 апреля 1935 года советская власть дала самой себе право расстреливать детей, начиная с двенадцати лет. И с этим ничего не сделаешь — это было. История-матушка не щадит и не наказывает. Она бесстрашна, поэтому ее и боится власть.

НЕ ДУМАТЬ НЕВОЗМОЖНО

Парень просыпается от привычного вопля: "Подъем!" От сладкого сна еще остался какой-то запах — то ли ржаного хлеба, то ли любимой девушки. Напяливая обмундирование, солдат пытается вспомнить сновидение, чтобы оставить его при себе. Второй вопль дежурного по роте заглушает все: "Выходи строиться!" На физзарядке солдат, проклиная себя за неумение отвертеться от беготни, старается думать с удовольствием о завтраке, но чувствует: день испорчен. По возвращении в казарму солдат оглядывается по сторонам: помещение как помещение, все привычно, все свое. Только вот земля под ногами не своя — немецкая. Там, за военным городком, живут немцы. Забор части служит границей между ним и немцами, а еще дальше, через

квартала два — еще одна граница, не забор уже, а стена-граница, и разделяет она одних немцев и других.

Два года назад призывник, узнав, что его и его товарищей по призывному пункту отправляют служить в Германию, обрадовался. Служить за границей, увидеть, может быть, Берлин! Ему, парню из-под Пензы, такое и в голову не приходило! Уже в эшелоне от солдат из охраны он узнал, что войска в Германии получают лучшее довольствие. Тогда в эшелоне все радовались, не замечая или не желая замечать иронических взглядов солдат охраны. Один, подвыпив, зло заорал: "Зелень неотесанная, чего зубы скалите? Узнаете, по чем фунт немецкого изюма, когда вместо водки будете по праздникам попивать какой-то вонючий "кюмелль". Увидите, молочные губы, что это такое — видеть, как мимо части ходят люди, глядящие на вас, как на прокаженных!"

Их привезли в одно из предместий Берлина. Вокруг было чисто. Из окон автобуса, доставляющего их в часть, солдат видел опрятных людей. Чужое шло ему навстречу. Так ребенок смотрит в кинотеатре свой первый мультфильм. Солдат любовался аккуратными пейзажами. Простора русского не было, но было изящество, рожденное долгим трудом человека. Он смутно понимал, что узрел необычное, но так же смутно ему во что-то не верилось. Только много позже он понял, когда родилось неверие в естественность происходящего. Это произошло в первый же день, и это удивляло своей простотой: их выгрузили не на вокзале, а на пустынном полустанке, их заставляли торопиться. Их старались скрыть от немцев, их везли по Гер-

мании не как защитников, не как завоевателей, а как воров.

В казарме было относительно спокойно: кругом привычные лица, русская речь, ругань. Но казарма, военный городок были островом в чужом мире. Хотя люди этого мира, как и мы, строили социализм, коммунизм, но, пробегая мимо забора-границы, они были вежливо-холодными, а чаще всего делали вид, что не замечают нас. И это было неприятно. Равнодушие всегда оскорбляет.

Иногда отличников боевой и политической подготовки водили на экскурсии. Но входить в контакты с населением было, разумеется, строго запрещено. Солдаты входили в музеи, осматривали их, смотрели на других посетителей. А те даже не замечали их или сразу замолкали, как только появлялась советская форма. Хотелось сказать какому-нибудь немцу: "Чего так глядишь? Что я, виноват, что ли? Нужна мне твоя Германия, как кобыле второй хвост! Приказали мне, понял? Послали меня сюда, понял?"

Солдат называл немцев чужими людьми, хотя сам понимал, что именно он и его товарищи здесь чужие. Он по-старинке не любил немцев, хотя невольно чувствовал себя перед ними виноватым. Не было ведь видимых причин ненавидеть всех этих немецких парней, родившихся, как и он, после войны. Это была их страна, а он был здесь-о-о-каким непрощенным гостем. Незванный гость, известно, хуже татарина.

У солдата есть человеческие думы и начальство тут бессильно. Не заставишь солдата не думать. Хотелось бы, а не заставишь. Вот он себе и представляет, к примеру, как бы он отнесся к долговому

присутствию в его Рязани немецкого или японского гарнизона. И отвечает себе: без особой радости. Так чего же обижаться на не любящих его немцев?

Говорили бы хоть на политзанятиях правду. Сказали бы: была война. Войну они проиграли, и мы по праву победившего навязали этому народу свои порядки,—политические, социальные и прочие. А чтобы они вели себя спокойно и послушно, держим войска. Все по древнему закону — горе побежденным. Это была бы горькая, но правда. А то тянут волюнку замполиты, парторги, комсорги до последнего лейтенантика, что мы, мол, помогаем гдээрзовским немцам строить светлое будущее, что мы защищаем их от возможного нападения империалистов с той стороны и что эти немцы — нам братья, а те немцы — враги. Говорят и говорят, хотя каждая собака знает, что братья из ГДР нас не любят куда сильнее, чем западные немцы. Враги к нам относятся куда более терпимо, чем братья!

Да, солдата не заставишь не думать. "Американские империалисты и немецкие неонацисты готовят агрессию против строящей социализм Германской Демократической республики!.." Подобные слова наводят на солдата сон или раздражают. В одном Берлине наших танков в два раза больше, чем американских, а английских и французских войск так мало, что и говорить серьезно на эту тему не приходится. Так кто же будущий агрессор? Немецкие граждане, которые с нашей помощью строят социализм, пытаются перелезть через стену, а немецкие солдаты палят по ним из пулеметов? Этим немецких военнослужащих,

стреляющих по своим, советский солдат глубоко презирает и не хотел бы он быть на их месте. Чертова стена! Так о ней наша пресса врет! Стена защищает жителей ГДР от войск ФРГ, но на ней погибают прошитые пулеметными очередями жители ГДР. Солдату стало противно, и он, вспомнив слова сержанта из эшелона, подумал напоследок, что тот был прав — лучше было бы служить у себя. Уставы уставами — они везде одинаковые, еда едой, где она лучше, где хуже, но, служа у себя, можно постараться хоть оставить себе иллюзию, что ты защитник родины. А тут — и того нет.

О ХРАБРОСТИ И ТЕРПЕНИИ

В одной из частей, в которой ничего не должно было бы происходить, произошел случай. Кому-нибудь он покажется странным, кому-нибудь — обыденным. Когда мне его рассказали, я, помнится, подумал, что на свете бывают разные виды терпения и разные виды храбрости.

Это произошло на Дальнем Востоке в одном танковом полку. В одной из рот служил парень, Сергей Волоколамцев. (Ему эту фамилию в детдоме дали.) Служил нормально, выполнял свой долг. Образования у Волоколамцева не было, но он писал стихи и в этом была его особенность. Он пытался скрыть это, но куда там, в роте знали, что он даже на посту, в мороз, чиркает что-то свое.

Однажды в праздник (то ли под Новый год, то ли седьмого ноября) Волоколамцев, подвыпив,

говорил своему лучшему другу: "Вот я свой горб трудовой с детства волоку с места на место. Я много видел да и понял многое. Я и Маркса читал и скажу тебе, что Маркс не мыслит, а приказывает. И марксизм — это аксиома, останавливающая развитие мысли. Марксизм лишает человека возможности выразить себя. Вот говорят, что наша идеология — всемирна, а мы именно из-за нее ничего не знаем о происходящем в мире". Друг ему ответил: "Будя тебе, брось. Ты смотри, как бы тебя за это самое к стенке не поставили. Я тоже кое-что знаю. За слово, поменьше твоего, моего батю в собачий ящик загнали. Двадцать лет прошло, но ты не думай, в политотделе-ох-как были бы рады услышать то, что ты говорил".

Бог знает, узнал или не узнал о словах Волоколамцева старшина роты Петренко, но он, видимо, о многом догадывался. Петренко был из такого человеческого материала, что в армии он стал старшиной, в гражданской жизни на стройке работал прорабом, на заводе — бригадиром. Специально Петренко людям зла не желал, но он знал, что, живя среди волков, нужно не только выть по-волчьи, но самому стать волком, и, кроме того, он еще знал, что счастье одного человека непременно покоится на несчастье другого. Так и жил Петренко, считая, что его мировоззрение правильное. К власти он относился равнодушно, но приспособливался — и только.

Как-то старшина Петренко вызвал к себе в каютку Волоколамцева и сказал ему: "Ты житель городской, профессий у тебя много и парень ты для меня подходящий. Так вот, я в твоем матраце нашел эту тетрадку с твоими стишками... Не лапай! И

успокойся, я тебе зла не желаю. Я хоть и простой человек, а сразу понял, что за твои эти стишки тебя в особом отделе по головке не погладят. Так что слушай: я бы мог на тебя донести, мне бы отпуск лишний дали, но я этого не сделаю. А ты мне за мое молчание окажешь службу. Я после дембеля в село возвращаться не хочу, мне в город охота. У меня тут в соседнем селе девушка есть, ребенка она от меня ожидает. Прописки городской она мне дать не может, да и жизни моей она мешать будет. А бросить — нехорошо, я, как честный человек, на такое не способен. Вот ты на ней и женишься. После свадьбы тетрадочку верну. Хорошее дело сделаешь. Ну как, по рукам?”

Волоколамцев окаменел. Страх перед особым отделом парализовал его. С трудом пробиралась одна полная ужаса догадка: ”Он кандидат в члены партии, он донесет”. Тот же всемогущий страх, который владел уже многими поколениями людей, заставил голову Волоколамцева кивнуть в знак согласия.

Через неделю старшина познакомил Волоколамцева с будущей женой. Последующие дни Петренко балагурил, отпускал шуточки, намекал на тетрадочку, на будущую поэтессу, которая родится от столь великолепного брака. Он не должен был этого делать. Петренко через узкую щель своего миропонимания не увидел, как переполнилась чаша терпения Волоколамцева, как ужас перед особым отделом, перед властью стал стусевываться, мельчать. Он не понял, что что-то произошло в Волоколамцеве.

Одной ночью на одном из караульных постов прозвучало несколько лихорадочных автоматных оче-

редей. Когда прибежала из караульного помещения бодрствующая смена, она увидела дрожащего от страха часового, а в метрах двадцати от него лежали на земле два тела — Петренко и Волоколамцева. Часовой действовал по уставу, — спросил, кто идет, затем закричал: "Стой, стрелять буду!", потом выстрелил в воздух, но фигуры продолжали молча к нему приближаться, и только тогда часовой открыл по ним огонь. Часовой получил двухнедельный отпуск.

Петренко был мертв и от него разило водкой. Волоколамцеву пуля раздробила бедро, но он выжил. Очнувшись, рассказал, что Петренко, напившись, приказал ему следовать за собой, а там на посту зажал ему рукой рот. Петренко был пьян и, вероятно, не понимал, что делает. Свидетельству Волоколамцева никто не поверил — Петренко был человеком физически не сильным и, кроме того, был под мухой. Да и история с девушкой дошла до ушей начальства. С ней был Петренко, потом Волоколамцев. Но командирам не хотелось разбираться — несчастный случай и все. Без осложнений.

Волоколамцев был комиссован. Он женился на девушке Петренко, та вскоре родила дочку. Тетрадку, которую Петренко выкрал у поэта, так и не нашли.

НЕВОЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Молодости привычно сбрасывать в ту пропасть, куда не хочет добираться мысль, все скверное, все бархольное в жизни. Кому охота в компании дру-

зей говорить о прошлых неприятных треволнениях, о пережитых унижениях. Не лучше ли сдобрить беседу приятными мгновениями ушедшего бытия. Так обычно люди и делают, неприятного в настоящем и так много. Армия осталась позади, служба прошла. Где-то дома — в кладовке, в шифоньере или еще где, валяются сапоги, шинель или бушлат, гимнастерка. Если найдется ушанка со звездой, то отметишь сам себе, что демобилизовался зимой, если выплывшая пилотка, значит эшелон для демобилизованных подали летом или ранней осенью. Пока еще свежи воспоминания, повсюду — дома, за стаканом, на работе, в раздевалке, во время обеденного перерыва, в столовке — повсюду текут разговоры о военной службе. Один говорит, что у него был автомат Калашникова, и с особенным удовольствием выговаривает: "АК был у меня, с закрытыми глазами его собирал, вот ведь до чего довели". Другой описывает свой карабин, называет его СКС и непременно хочет доказать, что карабин лучше автомата, прицельности больше, дальноточность замечательная — автомату не угнаться. И тут же начинает рассказывать, как он, нарушая все уставы караульной службы, простреливал из своего карабина железнодорожную рельсу — пост был дальним, звук выстрела до караульного помещения не доходил, а патроны были им выкрадены в оружейной комнате, не придерешься, по возвращении из караула все патроны на месте. А старшина, кстати, говорил, что из нашего карабина можно пробить, если построить в колонну, пять-шесть человек. Разумеется, если выстрел будет удачным. Тут парень чувствует, что сказал глупость и замолкает. А кто-то, словно мстя за проникновение

в их мир воспоминаний зла, выговаривает ядовито: "Сволочь был этот старшина, гад, таких давить надо".

Нас в цеху было четверо, недавно демобилизовавшихся. В перекуры, в обед, после работы в пивной мы бросали и бросали друг в друга кучи слов. Военские уставы, армейские требования уже казались чем-то забавным. Дисциплина уже не делилась на нужную и издевательскую, глупо-жестокую. Говорили мы в основном о самоволках, отлучках, о приятных невыполнениях приказа, о командировках, о девушках, о случаях на учениях. Кто служил в Средней Азии, кто — на Дальнем Востоке, кто — под Ленинградом на границе. В наших рассказах служба превращалась в романтическое приключение, интересное и любопытное. А помнишь? А помнишь? И — смех, шутки, прибаутки. С игривостью вспоминалось мне, как замерзал на зимних учениях, как наша палатка ночами расплзлась по швам. И забывался, быстро и легко забывался худенький паренек, который плакал от боли в одну из ночей, плакал потому, что его руки замерзали быстрее и сильнее, чем мои. Паренек, которому потом в госпитале ампутировали — экое красивое слово — просто отрезали пальцы. Не в бою, не защищая родину, свою землю, себя и своих близких, стал он физически недочеловеком. Он стал калекой по простому небрежению. Просто он, да и все мы, были и есть принадлежность нашей власти, нашего государства. Одним больше, одним меньше. Списали паренька. Вычеркнули из списков действующего состава. Будет он ходить по жизни неприкаянный, получать, как подаяние, от власти, искалечившей его, маленькую пенсию. Мать будет

скрывать от сына свое горе. Но я тогда старался об этом не думать.

Так мы и тешились самообманными разговорами, пока к нам в цех не пришел бригадиром только-только демобилизованный капитан. Пришел без погон, в галифе, в блестящих хромовых сапогах. На его лице были просто написаны желание властвовать, подчинять и плохо скрытое отвращение к труду. Почему он оказался выброшенным на сухой берег гражданской жизни, не говорил, да его и не спрашивали. Нелюбовь к пришельцу распространилась в цеху со скоростью огня. Он не указывал, а всегда приказывал, с надрывом, со злобой в голосе. Когда один из рабочих ответил ему: "Не буду я этого делать. Работы тут на двое суток, а заработаю разве что на семечки", — бывший капитан потерял самоконтроль, глаза его выпучились и рука поднялась. На его же счастье не опустилась — иначе нового бригадира избили бы на месте.

В курилке между нами возникли теперь совсем другие разговоры. Наша память начала выгалкивать на поверхность спрятанное. Мы как будто не хотели этого, это была невольная память, но с каждым разом все сильнее и чаще вспоминались пережитые нами несправедливости. Вспоминалось, как за слово правды офицер посадил солдата на гауптвахту и приказывал каждый день мыть уборные. И при этом терзал словами: "Ты подожди, еще не то будет, мыть галюн будешь после того, как я туда схожу". Через несколько дней в груди солдата родилась жажда убийства, которая сама по себе была уже мукой. Он бродил по камере, провонявшей, как и он, и представлял, как проберется в оружейную комнату, как уворует патроны, как зарядит авто-

мат и как... Рассказчик запнулся... А потом досказал, что этого солдата спас, в сущности, другой офицер. Когда солдат вернулся из гауптвахты в казарму, его вызвал к себе комбат, спросил: "Скажи мне честно, что ты сказал этому майору? Я не хочу тебе зла. Я никому не хочу зла". Солдат ответил: "Я сказал ему, что мы не должны служить мишенью его дурному настроению". Шел человеческий разговор. Слова комбата "терпи, я сам терплю" родили в нем угасшую надежду. Но мысль осталась на всю жизнь, мысль о том, что мы все, в гимнастерках или нет, с автоматами или без, беспомощны перед несправедливостью и что так не должно быть.

Каждый из нас вспоминал и вспоминал, невольно подчиняясь памяти, все новые и новые случаи, мерзкие, отвратительные. Ушел самообман, растворился от одного толчка. И, как подтверждение общей несправедливости, бывшего капитана, несмотря на общий протест, повысили в должности. И все же, помнится, я говорил ребятам: "Комбат тот-он ведь тоже существует".

САХАЛИНСКИЕ БУДНИ

Работая после окончания службы в Мурманске, я подружился с недавно демобилизовавшимся парнем из Ашхабада. Отец его был украинским крестьянином, выучившимся на агронома. Еще до войны все население села, в котором работал и жил отец, было погружено в эшелоны и отправлено на

восток. Семья отца оказалась во втором эшелоне. По прибытии в Магаданскую область стало известно, что все односельчане, находившиеся в том втором эшелоне, умерли. Никто не проклинал солдат, пришедших в деревню, солдат, грузивших население в вагоны, солдат, охранявших их в пути. Все перегорело, даже проклятия, даже ненависть. Было слишком много мертвых, чтобы страдать по ним. Во время войны отец попал на фронт, был ранен, очутился в Ашхабаде, где женился на туркменке. После госпиталя был комиссован, остался в Ашхабаде, где и родился после войны парень, с которым я подружился, Николай Воек.

Отец был украинец, мать туркменка, а он — русский, советский русский, как многие из нас. Кроме русского, он не знал никакого языка. Воспитывался на русской и советской литературе. Был пионером, комсомольцем. Когда пришел срок — пошел на завод, поступал в институт, но не прошел по конкурсу. В общем, его жизнь была жизнь миллионов, и его судьба ничем не отличалась от судеб других его ровесников.

О своем ужасном прошлом отец рассказывал бледно, скупо, даже слушать было не интересно. Отец был живой, любимый, близкий, но то, о чем он говорил, было древней историей. Мать тоже рассказывала о страшном долгом голоде, какого теперь тоже нет. И не будет. В прошлом его родителей было так много страданий, так много мертвых, умерших страшно, грязно и бесполезно, что юность Николая отказывалась принять так много горя. Николай Воек даже не знал, чувствовал ли себя его отец украинцем. Говорил по-русски, только иногда, подвыпив, он затягивал украинские песни, принося-

щие запах особой травы. Николай не смог разобраться и в себе, если бы ему в голову пришла вдруг подобная затея, кто же он такой: украинец, русский, туркмен? Пожалуй, русский, но для него само слово русский не имело национального содержания. Он был скорее всего, как того и хотела власть, безнациональным подданным советской многонациональной империи.

Николай попал на Южный Сахалин. Ему повезло: стал телефонистом на точке дальней связи. Устава там нет, строевой подготовки тоже. Всегда крыша над головой. Отдежурил смену — спи, гуляй. Инспекции редки. На точке все друзья — иначе не то что жить, существовать невозможно. Короче — не служба, а малина. Хлеб нужно брать в ближайшем поселке, тушенку привозят на несколько месяцев вперед. Продашь несколько банок китайской свинины — бутылка водки готова для согрева солдатской души.

Во время летнего муссона или осенью, когда приходят тайфуны и неделями льет дождь — вымываются под давлением упорных воды и ветра основания телеграфных столбов, падают они, нарушая связь между частями. На Сахалине вблизи берегов не побалуешься радиосвязью, японцы близко, могут подслушать, как матерятся или договариваются об охоте или рыбной ловле командиры частей. Тут пригодна в основном только дальняя кабельная связь, тянущаяся от одной точки к другой.

Ширина острова в месте расположения точки, на которой служил Николай, была километров девять. Неподалеку жил своей жизнью маленький поселок городского типа, где коптили рыбу и была

птицеферма. В поселке было много корейцев. Николай узнал, что их на Сахалине живет более тридцати пяти тысяч. Сработав из запчастей приемничек, Николай пошел как-то на птицеферму в надежде обменять его на петуха или другую птицу. Там Николай и познакомился с узкоглазой Таней Ким. Встречаются молодые люди, а когда расстаются, неожиданно выясняется, что это им трудно. Да и тоскливо потом не видеть друг друга. Встречались тайком, Таня объяснила, что ее отец пришел в бешенство, когда узнал, что дочь встречается с русским солдатом. Николай удивился: "А чего он, националист, что ли?" Таня разъяснила, что отец и мать были привезены на остров во время войны с японцами. Когда советские войска захватили остров, японцы эвакуировались. Корейцев же советская власть задержала. Потом некоторым разрешили вернуться, но только в Северную Корею. Но что стало с вернувшимися, никто не знает — ни письма, ни весточки не было.

Николай, внезапно вспомнив отца, сказал: "И не ищите, их расстреляли". Опомнившись, понял, что сказал правду; понял вдруг и другое: все, что говорил отец — не история, не забытое вчера, но живое сегодня. Он понял вдруг то, чего не мог понять до военной службы — что человек может быть несвободным, что человеку могут запретить вернуться на родину. Он все это знал, но вместе с тем и не знал. Но вот пришло мгновение, когда знакомое, увиденное с необычайного места и в новом освещении, поражает наше сознание своей новизной.

Они взобрались на гору, уселись у ног каменной березы, и Николай слушал Таню. Ее слова волнова-

ли его. "Многие из нас, — говорила Таня, — уже примирились со своей судьбой. Некоторые вообще забыли родину. Но среди нас есть тысячи, которые сделают все, чтобы вернуться. Месяц назад трое наших пытались добраться до Хоккайдо. Ваши их расстреляли в море".

Николай подумал: "Береговая охрана. А там ведь неплохие ребята".

Таня продолжала: "Я скоро попытаю свою судьбу, через несколько месяцев. Мы должны достать мотор для лодки. Если хочешь — помоги мне, если хочешь — донеси". Николай знал, что Таня ждет от него ребенка, но не напомнил об этом. Он не донес. Не смог. Он даже указал Тане и другим корейцам место, где безопасней всего спустить к берегу надувную лодку. Он их провожал безлунной дождливой ночью. Корейцы спускались к берегу. Он стоял, глядел им вслед. И тут с Николаем произошло то, чего он никогда не забудет. На секунду, на один миг он вдруг подумал, что не люди, желающие свободы и любящие Родину, уходят, а — враги. Он механически снял автомат с плеча, спустил предохранитель, поставил на автоматическое, послал патрон в ствол. Оставалось поднять АК и нажать на спуск. Внутри него шла борьба между ним и властью. И Николай победил, не стал убийцей, не убил женщину, которая уходила, неся в себе его ребенка.

Что он делал в Мурманске, почему устроился на работу в порту и собирался выйти в море на промысел — я его об этом не спрашивал.

СУВОРОВСКИЙ НАТИСК

Кроме газет, в нашей дальневосточной части не было ничего, что могло бы рассказать о мире. Близость китайской границы подсказала начальству запретить личному составу транзисторы — слишком уж много текло к нам антисоветского материала. Запрещение было неофициальным. Строптивых наказывали до тех пор, пока у них не возникала ненависть к радио вообще. Сначала карали работой — не очень строго, чтобы одумались. Потом старшина или офицер говорили: "Советую отослать транзисторный приемник домой, он только мешает службе, отвлекает от выполнения долга. Подумайте". Могли сказать и по-другому: "Слушай, по-хорошему с тобой говорю. Брось ты это дело. Живи спокойно, служба идет, так дай же ей идти спокойно. Продай этот дурацкий ящик. И нам вреда нет, и тебе хорошо, погуляешь в увольнении, с копейкой-то приятнее. По-хорошему тебе говорю, смотри, как бы не начал по-злому".

И солдаты задумывались. С одной стороны, неприятностей не оберешься, с другой — за транзистором своим нужен глаз да глаз, чуть отвернешься — нет его, стянули. При общей бедности, да еще усугубленной солдатской нищетой, такое и грехом не считается. Было, правда, и что-то такое, жившее в груди, которое говорило: "Ты человек, не забывай этого. Тебе запрещают слушать радио, завтра запретят любить, ненавидеть, думать. Не поддавайся". Эти, казалось бы, простые слова помогали солдату, закрыв глаза, открыть в себе духовный мир — особый, резко-нежный и огромный, как бесконечность. Но глаза открывались и становилось

вдруг боязно. Была казарма, уставы. Хотелось после отбоя уснуть и видеть сладкие сны, а не чистить полночи картошку на кухне. Чаще всего транзисторы продавали или обменивали на водку, спирт, закуску. И, как бы в подтверждение уродливости происходящего, приемник покупал именно тот старшина или офицер, который холодно-казенно или дружески-угрожающе уговаривал солдата избавиться от него. И покупал, конечно, за полцены.

В каждой военной части, в каждом полку, дивизии живут и передаются от одного солдатского поколения к другому были, рассказы о происшедшем, о солдатах, совершивших необычайное. В нашем военном городке ходила быль, которую связывали с неофициальным запрещением транзисторных приемников. Фамилия парня была Удодов. Служил, как все, подсчитывал месяцы, оставшиеся до демобилизации, старался не думать об опасных вещах, не особенно мучился от отсутствия свободы, считая подобное состояние временным. В общем, путал, как и многие, дисциплину и свободу мысли, чувств, слов. Был у Удодова транзисторный приемник, слушал он китайское радио — скорее для смеха. Китайцы поливали эфир пропагандной дребеденью, и делали это еще скучнее, чем московское радио. Было все же забавно слушать, как желтый китайский брат крыл, как мог, партию, Брежнева. Однажды по китайскому радио сказали, что в одном поселке под Новосибирском народ, отчаявшись без мяса, молока и других необходимых человеку продуктов, забастовал и пошел куда-то требовать справедливости. Начальство в Москве сочло, что в тех, кто требует справедливости, нужно стрелять, не то завтра они захотят справед-

ливой власти. Китайцы заявили, что погибло пятьдесят человек.

Рядовому Удодову было совсем не смешно слушать пекинскую радиопередачу. Он резким движением выключил свою любимую "Спидолу". Сказал, будто отрывал от себя прилепившееся: "Врут они, эти гады". Только ночью, после отбоя, не находя сна, вспомнил Удодов, что живет в том самом поселке друг, с которым работал он в одном цеху на заводе в Новосибирске. Наутро, спасаясь в ленинской комнате от физзарядки, рассказал Удодов некоторым своим друзьям по отделению о китайском сообщении, сказал, что наверняка врут желтые люди с той стороны границы. Также поведал Удодов, что намерен на всякий случай написать другу письмецо, которое, само собой, он опустит в ящик не на территории военного городка. Друга же попросит прислать ответ в деревню до востребования. Чтобы все было шито-крыто.

Друг прислал ответ. Китайцы сказали правду. Погибло не пятьдесят, а семьдесят человек; среди убитых женщины, дети. Душа Удодова взбунтовалась. Вспомнилось многое другое, мерзкое, отвратительное. Удодов начал говорить, и его слово понеслось по отделениям, взводам, ротам. Внешне не изменилось ничего. Солдаты говорили и только, говорили тихо. Однако, особый отдел части поднял тревогу. Начались поиски. Кто? Как? Страшнее правды для неправды ничего не существует. Особый отдел знал: сильное слово может вызвать действие. И нашелся парень, они часто находятся, который выдал Удодова, рассказал политотделу и особому отделу о китайской радиопередаче.

Начальство прибегло к старому испытанному

правилу: ответить на правду террором. Удодову дали увольнение в деревню, и там несколько сержантов, работающих на особый отдел, спаивали его в течение трех суток, после чего Удодов был доставлен в часть под конвоем, был обвинен в дезертирстве, судим судом военного трибунала и осужден. Особый отдел, разумеется, подпольными каналами дал личному составу части понять, за что на самом деле был осужден Удодов. С тех пор обладание транзисторным приемником не только запрещено, но считается плохой приметой.

УЗКОКОЛЕЙКА

Бывает, что солдатская судьба гонит парня от одной чрезвычайности к другой, дает ему возможность приобретать особое знание нашей жизни, увидеть то, что скрыто. Чаще всего это особое знание приходит тогда, когда переплетаются военная и гражданская жизни, когда, например, парень, широко раскрыв жадные молодые глаза, отправляется в командировку. Позабыть, что на плечах погоня, что твои действия от тебя не зависят — основная дума каждого командировочного. Тут и надежда получить женскую ласку, и стремление забыть на время уставы, приказы, механичность усвоенных вопросов и ответов. Одно то, что можно будет ответить кому-то не "так точно", а по-человечески "ладно", уже окрыляет и растягивает рот в добрую улыбку.

Но об одной командировке в части не любили говорить, а если и вырывалось что-то, то толь-

ко намеки, ясные для посвященных. Это было зимой. Ветер уже ожил и, пробивая шинели, телогрейки и гимнастерки, добирался до тела, прошибал и его. В штабе полка решили до наступления морозов закончить строительство учебного стенда. Но нужны были деньги и два отделения нашей роты были откомандированы в ближайший леспромхоз валить лес. Наш начфин высчитал, что пяти суток работы по двенадцать часов вполне хватит. Нам было наплевать. Мы радовались, хлопали друг друга по плечам, бросались наперегонки в каптерку, стремясь добыть себе валенки поновее. Молодость рвалась из нас, она оказалась сильнее холода, когда трехосный "ЗИЛ" вырвался из контрольно-пускового пункта и запрыгал по ухабам.

В тайге было менее ветренно, в леспромхозе люди были приветливее, девушки не скупилась на добрую ласку. Работали тяжело, зато после наступления сумерек могли дышать полной грудью, не ожидая окриков, не думая о построениях и политзанятиях. Сопровождающий нас лейтенант оказался парнем незлобным. Главное, чтоб работа была сделана, чтоб не было чрезвычайных происшествий — а там живите, как хотите. О таком лейтенанте приятно и вспомнить.

Нужный лес был повален в четыре дня. И утром последнего командировочного денька вышел из своей избы опушкой от водки лейтенант и сказал всем на радость: "Возвращаемся домой вечером. На сегодня объявляю выходной. Тот, кто не будет здесь в девятнадцать ноль-ноль, пойдет прямым путем на губу. Разойдись!"

Расколовшись на группы, все разошлись. Шелестящий покой тайги окутал нас. Природа заража-

ла своей беззаботностью, неторопливостью жизни. Пройдя километров пять, группа, в которой я был, вышла на большую и своеобразную поляну — по форме почти совершенный прямоугольник. А еще мы заметили, что трава на этой поляне была выше, чем вокруг. Отойдя от странной поляны, мы вдруг натолкнулись в зарослях на узкоколейку, и почувствовали беспокойство, которое невозможно описать словами. Узкоколейка исчезала в зарослях молодого леса. Создавалось впечатление, что она ниоткуда не начиналась и никуда не вела. Неподалеку текла почти без шума узкая река, на берегу которой двое малышей из деревни закидывали донки. Мы подошли. Малыши недовольно оглянулись, но, увидев солдат, улыбнулись. Мы у них спросили о поляне и узкоколейке. Они пожалы плечами, ответили: "Что-то было". Я заметил, что во время всего разговора они очарованно глядели на наши пилотки. Пошептавшись между собой, один из них сказал: "У нас тайна есть. Никто ее не знает... откроем вам за пилотки". Смеясь мы дали им сразу пять пилоток. Пилотки были рабочими, а кроме того, скоро должен был выйти приказ министра обороны СССР о переходе войск на зимнюю форму одежды, так что пилотки все равно долой.

Малыши вели нас минут десять и остановились у места, где река довольно круто поворачивала на запад, образуя сильно подмытый обрыв. Малыши влезли в красный от осени кустарник, росший там. Мы следили за ними глазами и вдруг увидели чуть ли не во всю высоту обрыва, размываемого водой, груды человеческих костей. Мы оцепенели. Все стало ясным. Поляна была лагерем,

здесь стояли вышки, на них были пулеметы, колючая проволока. Сколько тысяч человек было здесь замучено? Никто не скажет.

Пересилив себя, я подошел поближе. На ноге одного скелета висело подобие бирки. Номер был повернут к земле. Я не посмел осквернить любопытством покой того, кто для меня еще был человеком. Покой ли? Я не был верующим, но не мог не подумать об их душах. Если действительно существует бессмертие, то обрела ли душа каждого покой, если прежде, чем убить, в нее плюнули, а плоть испоганили, бросили, как не бросают и последнюю собаку. Много бы я отдал, чтобы узнать это.

Веселые крики убегающих с нашими пилотками малышей заставили меня поднять голову. Я посмотрел на друзей. Все были бледно-зелеными. Но лица их были лицами людей, готовых к драке.

Мы возвращались молча. Осторожно ступая, шли по этому месту, от земли которого шло и шло человеческое страдание. Остановились у поляны, где стояли когда-то бараки, где существовало то, что не должно существовать. Только тут, представляя вышки с пулеметами, я вспомнил, что я — солдат. На вышках тоже ведь стояли солдаты. Были ли они из специальных войск НКВД или КГБ — это дела не меняло. Они были солдатами и советскими людьми. В той же форме, с такими же уставами, что и наши. Сколько лет прошло? Двадцать, тридцать? Здесь, на этой поляне солдаты убивали людей тысячами, может быть, десятками тысяч. Если к каждой единице приставить человеческую жизнь со всей ее неповторимостью, то нет уже цифр, есть отвратительная громада непоправимых преступлений. А что

если завтра нам в руки дадут пулемет и погонят на вышку? Что тогда?

По прибытии в часть ребята начали нас расспрашивать о впечатлениях. Настаивали. Мы молчали. Слов не было. Да и не говорить хотелось.

БЕГСТВО В ДРУГОЙ МИР

Солдат чаще попадает на губу, под трибунал или ломает себе кости, чем сходит с ума. Как говорят в армии: "Рехнуться не есть лучший способ демобилизоваться". Некоторые за всю службу, навидавшись как будто всего, так ни разу и не увидели сошедшего с ума человека. И даже в санчасти обычно не сталкиваются с душевнобольными. Они как будто вне военной службы. Мне все же привелось за годы службы увидеть двух парней, ушедших от уставов, начальства и караулов в иной мир, без безумия.

Первым был маленького роста казах. Он так стремился побыстрее уйти из нашего мира, что курил без просьбу анашу и запивал ее одеколоном. Когда не было ни того, ни другого, он глотал все таблетки, которые попадались под руку. В один ненастный день к нему начали приходиться видения. Он то трясся, то окаменевал. Увезли казаха из части в неизвестном направлении.

Через год другой паренек, прибалтиец из соседней минометной роты, заблудился во время командировки в тайге. Вышел из палатки по нужде и исчез. Искали четверо суток. Рота была озлоблена:

вместо того, чтобы отдыхать, прочесывали тайгу квадрат за квадратом. Было решено: если найдут, избить дурака. Когда прибалтийца нашли, он уже был готов — сошел с ума. По дороге в часть все возмутился, почему его не выпускают из клетки.

Эти два случая можно отнести к бурному проявлению безумия. Однако в армии чаще всего можно наблюдать душевную расшатанность солдата. Внезапная раздраженность из-за пустяка, подозрительность ко всем и всему, сильная боязнь простудиться. Такие чудачества, нисколько не опасные, показывают, что военнослужащий в армии чувствует себя, пожалуй, одиноко. Бывает, правда, и серьезнее. Кто-то вдруг совершенно теряет вкус к жизни — такого никакими наказаниями не заставишь прийти хотя бы свежий подворотничок. А кто-то, наоборот, вдруг начинает смахивать на кокетливую девицу. В тумбочке появляются духи, всевозможные кремы, протирания. И при этом никаких признаков полового извращения. Он по-прежнему мечтает о девушках, но появление малейшего прыща приводит парня в ужас. Во всем остальном — солдат как солдат. Начальство в подобных случаях закрывает глаза.

Кроме того, в каждой воинской части существуют и симулянты. Одним надоело ходить строем, торчать в карауле, других со всех сторон зажимает царящая кругом несправедливость — это мучает их в буквальном смысле слова. Если в гражданской жизни кривду можно замазать, забыть — пойти, например, в кино, послать бригадира ко всем чертям, сменить место работы, то в армии ложь и мерзость обнажены, ничем их не замажешь и не забудешь. Они почти всегда перед глазами. В армии мо-

гут приказать: "Не думать! Не думать!" И в этом не будет ничего удивительного.

В нашей армии мало выполнить приказ, его нужно выполнить, не размышляя. В нашей армии мало отвечать по уставу, нужно и в личной беседе с товарищами отвечать, следуя неписанному уставу особого отдела. Но повсюду были, есть и будут люди, которые не могут следовать этим правилам: не могут не думать, не хотят скрывать свои мысли и не могут молчать, видя несправедливость. Такие ребята и мучаются в нашей армии. Они ведь хотят быть не только солдатами, но и людьми, людьми в открытую, и с этим никто ничего поделать не может.

Отчаяние способно на многое. Лень — тоже. В санчастях, медсанбатах, госпиталях много солдат, симулирующих ту или иную болезнь. (О том, как симуляция вредит настоящим больным, на которых смотрят как на симулянтов, — дело другое и разговор другой.) Можно отыскать даже специалистов по симуляции. Некоторые из них бесплатно раздают рецепты, некоторые требуют платы в виде пачки "Беломора", поллитра и т. д. Тебя могут многому научить. Можно, например, сжевать за день две пачки фосфатина — тогда по телу пойдет сыпь. Диагноз, согласно настроению врача, скарлатина или дифтерит. Но можно проглотить на голодный желудок кусочек мыла и запить холодной водой. И тут, если уже действительно повезет, то будешь всю жизнь с испорченным желудком, если не попадешь раньше времени на кладбище от прободения желудка. Многие солдаты об этом знают — и все же идут на это. Есть специалисты, достающие кофеин. Два укола по ноль-пятнадцать — и высокая темпера-

тура в кармане. Можно смело идти в санчасть и пожить несколько дней без отбоя и подъема. Иные глотают стрептомицин — опять же температура. Есть и такие, что пьют холодную воду, предварительно капнув туда спиртового эфира. Это ничего. Но выпить две-три ложки цытварного семени — это уже посильнее. Появляются симптомы так называемого "острого живота". Диагноз — гастрит. А если накуриться шелка, можешь вернуться домой с испорченными легкими.

Разумеется, большинство не хочет прибегать к подобному способу ухода от армейской действительности. Кто-то хочет выслужиться — это стремление охватывает все существо и действует как своеобразный наркотик. Кого-то тянет к спиртному, кто-то, пренебрегая наказаниями, бегают к девушкам и женщинам. Каждый старается по-своему забыть о службе, торопить время, а если удастся, вообще забыть о нем.

Для меня забвением, уходом в другой мир были книги. Я читал их даже в карауле на посту. Носил их всегда под гимнастеркой, чтоб не украли. Тогда я не думал, для чего нужен этот уход от армейской действительности.

С КОРАБЛЯ НА БАЛ

Иногда истина входит в человека медленно, с пережитой жизнью — тогда легче ее принять; а иногда обрушивается внезапно, молодой солдат вдруг открывает, что все, во что он верил, — ложь. Тогда

душевные травмы неизбежны. Молодой ленинградец Серафим К. пережил подобное открытие особенно трудно. Полным энтузиазма молодым призывником появился он перед нами. Глаза блестели, руки ласково поглаживали новенькую хлопчатобумажную гимнастерку. Его представили взводу во время вечерней проверки. Он с видимым душевным восторгом вытягивался, неуклюже отдавал честь. Он верил, что пришел в новую суровую семью отстаивать правое дело. На него устало глядели шестьдесят глаз. После отбоя мой друг Свежнёв, укладывая обмундирование, сказал: "Откуда такой взялся? Ты видел, он искренний. Я думал, что такие разве что в музеях остались. Не хотел бы я быть на его месте".

Серафим К. был сыном старого офицера-штабиста, рос он в тепличной атмосфере ленинградской квартиры родителей, среди тетюшек, ходил в какую-то специальную школу, куда дети рабочих не попадают. Воспитывался на Павлике Морозове, Павле Корчагине. Возможно, что отец смог бы достать для сына броню, комиссовать, устроить его в крайнем случае в какой-нибудь ленинградский полк, близко от дома, но он то ли считал это неудобным, то ли думал, что "спасение сына" будет сразу же использовано его врагами в Ленинграде и Москве. Так и получилось, что паренек, не успев увидеть хотя бы краешек настоящей жизни, попал "с корабля на бал".

Мы наблюдали за его перерождением с добродушной насмешливостью. В первые же дни неумело намотанные портянки разодрали в кровь ноги. Неумение раздеться при отбое за шестьдесят секунд навлекало ежевечерние наряды на работу

вне очереди. Когда офицер приказал Серафиму вырыть ямы для установления спортивной перекладины и тот спросил, где ему нужно взять лопату, офицер, прищурившись, ответил: "Ты что, сосунок, издаваешься? Роди, укради, убей, но достань". Серафим в ответ что-то пробормотал о кодексе строителя коммунизма. "Кодекс строителя коммунизма, — переспросил офицер. — Я тебе покажу кодекс, пахло. Когда выкопаешь ямы для перекладины, придешь ко мне". Серафим не родил и не украл лопату и попал прямоенько на гауптвахту. Там в грязи камер, в жадности набрасывающихся на пищу ребят, в каждодневных унижениях — ползал у ног коменданта, скобля полы, просился выйти по нужде и получал отказ.

Многих — и солдат, и офицеров, раздражало, что он кричал о своей невинности. Серафим К. не понимал, упорно не хотел понять, что наказывание невинных дело обычное. Если наказывать только виновных — какой же смысл! Бояться должны все, а чтобы все боялись — наказывают невинных. Через два месяца этот паренек был неузнаваем. Отчаяние переродилось в злобу ко злу. Получаемые со всех сторон душевные травмы все сильнее накладывали на него отпечаток истеричности. Однажды ему, хотя он был как раз в отдыхающей смене, приказали подмести территорию вокруг караульного помещения. Пока он работал, к помещению подошла и нагадила корова, худая, с добрыми глазами. Это было последней каплей. Серафим К. бросился, дико крича, с автоматом наперевес к корове и в безумном отчаянии исколол ее штыком. Изувеченная корова издохла. Начальника караула не было, он пил в деревне. Это спасло

Серафима от медицинской экспертизы. Корову оттащили подальше в овраг, облили соляжкой и сожгли.

Так солдат Серафим впервые в жизни убил невинное существо. Это оказалось для него переломным моментом. Глаза открылись. Он стал солдатом.

КТО МАРОДЕР?

На плечах солдата погоны с эмблемой рода войск, на пилотке или ушанке — красная звезда. В первые месяцы службы эти и другие атрибуты влияют на чувства солдата. Блестящая бляха ремня, плотно прижатая к телу, сапоги, стучащие одновременно с тысячами других сапог так, что гудит земля, дают молодому солдату ощущение всемогущества, силы армии, составной частью которой он является.

Трудновато, конечно, привыкнуть к армейской дисциплине, но ощущение силы и собственной необходимости ослепляют. Возвращаясь из бани или из Дома офицеров, рота запекает. Недавний призывник дерет глотку, не замечая насмешливых взглядов умудренных опытом армейской жизни товарищей.

По обеим сторонам дороги дремлют в сорняках колхозные помидоры, и забывает парень, что он в строю, уж слишком весело живет его тело, уж слишком беззаботны его мысли. Парень делает шаг вбок и с юным лихачеством срывает еще зеленоватый помидор. Колонна останавливается.

К молодому солдату подбегает ротный, вырывает из его рук помидор, швыряет его на землю и злобно раздавливает сапогом. Парень слышит: "Сволочь. Мародер. Десять суток". Молодой солдат простодушно не понимает. Еще несколько месяцев назад подобрать на колхозном поле овощ было так же естественно, как дышать. Все его существо хочет оправдаться, сказать, что не вор он! Что это ошибка, невольное движение, подсказанное гражданской жизнью. Он открывает рот, но его благие намерения опять жестоко пресекаются: "Молчать! Пятнадцать суток! И радуйся сволочь. Мародеров, таких, как ты, к стенке ставить надо".

Через полмесяца с гауптвахты в казарму приходит другой человек. Камера отучила его беззаботно глядеть на жизнь. Само выражение его лица изменилось, исчезли детскость, вера в людей. Позже, через год-полтора, этот парень мне сказал: "Слово мародер меня потрясло до потрохов! Что я тогда понимал! Ничего. Что-то сломалось во мне на губе, что предохраняет человека от реальности. Все у нас ложь. Я на гауптвахте понял, что только и остается: принять эту грязную, нечестную реальность. И бороться с ней, при этом стараясь не погибнуть. Существовать, дожидаться демобилизации, запрягав от грязи все свое человеческое. Надеюсь, что мне это удалось".

Трудно лишаться иллюзий, трудно согласиться с тем, что все, выученное в школе, все красивые слова могут быть безжалостно растоптаны настоящей жизнью, которой нет дела до политики, власти и того, что она сделала с каждым из нас.

В частях, стоящих на довольствии по третьему эшелону, то есть по самому низшему разряду,

армейское существование быстро лишает молодого человека хоть каких бы то ни было иллюзий. Внешне еды как будто достаточно. В столовой можно захватить целый бачок того, что называется кашей, с хлебом труднее, но все же можно время от времени упросить и хлебореза выдать лишний кусок. И все же, наевшись, солдат с раздражением отмечает, что через два часа после принятия пищи голод тут как тут. Во время завтрака необходимо следить за своими кусками белого хлеба, за двадцатью граммами сливочного масла. Ни отлучиться, ни отвернуться надолго нельзя — останешься без завтрака.

На территории части живет своей торговой жизнью буфет, заведение, напоминающее, что солдат солдату рознь. Выйдя из столовой, солдат, получающий из дома денежные переводы, бросается к буфету. Он знает, что очень скоро вернется голод и что яблоко, банка сгущенного молока помогут ему равнодушно и без злобы дожидаться следующего построения. Другие, получающие в месяц от государства три рубля восемьдесят копеек — что и на курево не хватает, глядят ему вслед с недоброжелательством, порожденным человеческой завистью. Некоторые задумываются о смысле происходящего. И спрашивают себя, как издревле спрашивали русские люди: кто виноват?

А ко всему прочему день за днем никаких овощей. И как солдату не перемахнуть через забор части, не пойти на поиски овощей, фруктов. А в ответ гауптвахта, иногда военный трибунал. И клеймо — мародер. При этом начальство с крайним неудовольствием отмечало и продолжает отмечать, что военнослужащий срочной службы больше мародерствует на колхозных или совхозных землях,

а не на приусадебных участках. Если учесть, что колхозный овощ хуже по сравнению с крестьянским и что мародерство на государственных землях карается строже, то особый отдел неизбежно приходит к выводу, что это уже политика, пусть подсобная, но политика. И тогда трибунал старается быть беспощадным.

Я никогда не забуду, как кричал один пьяный сержант, которого волокли с колхозного поля комendantские патрули. Он кричал: "Не я, вы мародеры, я свое беру, а вы нас грабите, прикрываясь законами и уставами. Это вы мародеры".

В СТРОЙБАТЕ БЫВАЕТ ПО-ВСЯКОМУ

К строительному батальону в армии относятся по-разному. Два солдата из одного отделения какой-нибудь мотопехотной роты могут выразиться о стройбате диаметрально противоположно. Первый вздохнет: "Ни тебе учений и строевой подготовки; да и заработать на водку, говорят, можно". Другой кривится: "Хорошо там, где нас нет. Стройбат — это не армия и не гражданка, так, что-то среднее между полковником и мотоциклом. Там, хоть и муштры нет, а минуты равны часам, часы — дням. Демобилизации ждешь не дождешься; да и соблазнов в стройбате множество, так что немудрено из стройбата попасть в дисбат".

Часто бывает в жизни, что противоположные мнения одинаково правдивы. А мелочи всегда зависят от освещения, от того, выгодно или невыгодно па-

дает свет. В стройбате армейской дисциплины действительно почти нет, во всяком случае, она сведена до минимума. Дневального у тумбочки практически нет, гуляет или спит, койки плохо заправлены — и никто не орет, никто не расшвыривает в разные стороны постельные принадлежности. В казарме стройбата глаз сразу приметит обилие радиоприемников, а нос почувствует стойкие элементы, присутствующие только коммунальной квартире. Один знакомый паренек, живший до армии в коммуналке, рассказал, что, попав случайно в казарму стройбата, ощутил дурноту, встретив привычно-отвратительный дух коммунального жилья. Строевые занятия в стройбате проводятся редко и спустя рукава. Гуляет себе стройбатовец по территории части, пуговицы обмундирования расстегнуты, бляха пояса висит, головной убор сбит на лоб или затылок, встречным офицерам чести не отдает — те и не косятся, разве что замполит прикрикнет для куражу, чтобы как-то спастись от собственного бессилия. А после скажет за рюмкой своим знакомым: "Не тот теперь военнослужащий пошел. Раньше Иван-стройбатовец сначала боялся, а после уж думал. Теперь наоборот, ты ему сначала выгоду дай, а там видно будет. Ученый народ пошел".

Стройбатовец в быту сначала специалист — то есть экскаваторщик, каменщик, бульдозерист, плотник и только потом солдат. Посадив рядового на гауптвахту, сажаешь работягу, который, можно сказать, и без "спасибо" план дает. Невыгодно. Так что, хоть и хочется порой начальству быть беспощадным, да план не позволяет. Существует в стройбате главнейший вопрос: Кому нужно чрезвычайное происшествие? И ответ: ЧП никому пользы не

приносит. Вопрос этот задает и на вопрос этот отвечает начальство, а стройбатовец — шепотом: "Что ЧП по жизни нашей бьет — это им наплевать, лишь бы по их погонам не ударило!" Лопнул трос, болты от пятидесятиградусного мороза раскрошились — и придавило парня насмерть. Мгновенно труп окружен коммунистами, командирами, политработниками, окружен так, чтобы никто не видел, как и почему погиб человек. Все знали, что тросы давно нужно было сменить, и вдруг оказывается, что старые тросы были новыми, а в пятидесятиградусный мороз никто никого не заставлял работать. Почему же тогда погиб солдат?! Ответ очень прост: по собственной вине. Полез куда не нужно, был пьян, был недисциплинирован. Домой написали, что погиб при исполнении служебных обязанностей, что родные могут им гордиться, а начальству отписали, что сам полез куда не надо. Все просто. Одна мать будет горевать всю жизнь, да старшине, инженеру или ответственному за соблюдение нормативов безопасности влепят выговор или перекинут с одного объекта на другой — служи дальше.

Мне рассказали историю стройбатовца по фамилии Степанюк. Степанюк что Иванов — фамилия у нас ходкая, за ней и человека трудно разглядеть. А этот вот Степанюк был странным, потому что верил, что везде можно добиться справедливости. Служил он в одном железнодорожном батальоне, которому дали приказ проложить где-то под Воспуржаном странную дорогу: начиналась она ниоткуда и вела как будто в никуда. То ли для переброски танков, то ли для ракет. Как это часто делается, к месту начала работ привезли и поставили на

никогда не оттаивавшую землю бюст Ленина. На людей это сперва всегда действует: лес, мороз и вместо горячего чая мистический Ильич. В такие минуты анекдоты о нем на ум не лезут, охватывает-таки странная торжественность.

Разбили лагерь. Мороз от тридцати пяти до пятидесяти градусов. Въедается в душу. Для офицеров пригнали вагон: они там ели, спали. Выходили из вагона отдавать приказы, иногда на охоту. Для личного состава — палатки. Казармы? Ты солдат и не на курорте. Овощехранилище? И так будешь жрать, что дают. Утепленный пункт технического контроля? Еще чего! Баня? Посмотрим, видно будет. Зато вдоль будущей трассы незамедлительно протянули, взяв за исходную точку бюст Ленина, стенды, плакаты и транспаранты. Что значит работать по двенадцать часов на сорокаградусном морозе да еще без будок для отогрева, знает только тот, кто это испытал. Через месяц на пилораму отказывались идти. Непослушные руки сами лезли на визжащее железо. Приходилось офицерам выходить из вагончика, угрожать трибуналом. Присягу, мол, давал? Давал! Вот и топай, а не то демобилизации в дисбате не дождешься. Это приказ! Знаешь, что дают за невыполнение приказа.

Ребята шли работать. Трасса ползла вперед метр за метром, позади оставались проклятья, отмороженные руки, ноги, носы, а еще — искалеченные чувства. Может, все так бы и прошло — не нашему же брату учиться терпению, если бы партийному секретарю батальона не вошла в башку дурь устроить фотоконкурс. Так как трасса была стратегической, то еще до прибытия у всех забрали фотоаппараты. Секретарь отщелкал пленку и вывесил

снимки на всеобщее обозрение. Человек, как бы он ни страдал физически и душевно, все равно за день, за неделю хоть раз улыбнется — шутке, анекдоту, воспоминанию. Секретарь написал под одним осклабившимся лицом: "Оптимизм — это наше будущее".

На фотографии было лицо Степанюка.

И он не выдержал, закричал: "Ребята, они нас за дураков принимают! Присягой тычут, долгом протыкают, а сами в вагоне возле буржоек дрыхнут. Где справедливость, братва? Вместо горячего чая говорят, что мы давно социализм построили. Где он, когда мы мерзнем и горячей пищи уже неделю как не видели".

Степанюк заикался, не заканчивал фраз, обрывал мысли. Но все будто впервые поняли, что они работают в семидесятых годах нашего века, а вкалывают так же, как вкалывали их отцы и деды. Ничего не изменилось, кроме слов. Не было справедливости, нет ее и не будет.

И проснулось в солдатах что-то яростное, лихое, безудержное. Вагон с офицерами был перевернут, палатки, стенды, транспаранты сожжены, бюст Ленина, правда, не тронули, так как не знали, виноват во всем Ленин или нет. Работа прекратилась.

Через несколько дней прибыла комиссия. Батальон был переброшен на другой участок. Степанюку дали пять или семь лет. Батальон пытался спасти его забастовкой, но на новом участке было теплее, чем на прежнем, и тепло забрало силы. Не отстояли.

ВОСКРЕСНИК

Хорошо становится солдату на душе, когда в отступающую зиму врезается весна. Происходит милый человеческому сердцу взрыв: лопается лед, лопаются почки, земля словно дрожит от наполняющих ее соков. А тут еще подходит воскресенье. Солдат оглядывается по сторонам, думает, что славно все вокруг: ни в караул не попал, ни в кухонный наряд, ни в дневальные, да и нарядов вне очереди как будто нет. В кармане затесалась лелеемая трешка. Жить можно, то есть можно на время забыться. Постелить шинель на еще холодную землю, подставить лицо солнышку, глотнуть спирта или даже самогона, а дальше мечты как-то и не идут. Не будет в воскресенье политзанятий, поутру малая политинформация, так минут на десять — и отдых. Не будет и строевых занятий, не будет привычно-противного крика ротного: "А ну! Так копыто ставить надо, чтобы в башке гудело, должно гудеть, все равно в ней пусто". И глупый хохот от собственного остроумия.

Наступает воскресное утро, утомившийся после ночи бодрствования дежурный по роте выкрикивает с особенной радостью (ему и выспаться дадут вволю, а вечером увольнительную дадут, на танцы в деревню пойдет): "Подъем! Рота, подъем!" А потом совсем не по уставу напеваает строфу из солдатской молитвы: "Дай нам, Господи, легкого подъема, дай нам на завтрак хлеба не недовесу..." Но не допевает ротный: "Дай нам, Господи, старшину — не гниду". Радость радостью, а голову терять не стоит. Старшина-гнида, может, и спит в своей каптерке, а может, и слушает. Не то чтобы очень боялся сержант,

но такая у нас служба, что службу делает не товарищество, не дружба, а взаимное недоверие.

На крик рота вскакивает с коек. Старики, старослужащие натягивают свитера, молодежь, первогодники, в одних солдатских рубашках; первые идут курить к умывальникам, вторые — выбегают на физзарядку. И вдруг все замечают, что территория части набита офицерами, снующими взад и вперед. Тогда старослужащие, на ходу снимая свитера и проклиная все на свете, тоже выбегают, смутно догадываясь, что не к добру это воскресное скопление звездопогонников. Но до завтрака все проходит как обычно. В строю шепот старших: "Выжидают, гады, не хотят, чтоб разбежались".

После завтрака общее построение. Офицеры, старшины-сверхсрочники — все в сборе. Появляется комполка, старый вояка, три года провел на передовой, шесть раз ранен. Полковника горбом заработал. По бокам комполка идут замполит и парторг. Замполит — это весь полк знает, всю войну просидел в тылу при военном трибунале, расстреливал таких, как мы, таких, как комполка. Парторг родился как раз перед войной, пороха не нюхал, хотя любит намекать, что где-то и как-то воевал. Еще он любит чрезвычайно вежливо говорить провинившемуся солдату по пустяку: "Я Вам прочту лекцию, минут этак на двадцать, чтобы Вы постарались понять Вашу политическую ошибку, товарищ рядовой. Я постараюсь Вам доказать, что, якобы не заметив меня, не отдав мне честь, Вы совершили политическое преступление. Но так как Вы все равно не поймете, я Вас отправлю затем на десять суток гауптвахты, которые я Вам объявляю от имени командира части. Думаю, что Вы поймете там

лучше, чем сейчас. Сожалею, что не могу пока отправить Вас в дисциплинарный батальон”.

За эти ”Вы”, ”Вам”, ”Вас” и за то, что он посадил и погубил многих хороших ребят, в него стреляли два раза. Раз, когда он служил в политотделе какой-то дивизии в Монголии, и второй раз, когда он был парторгом стройбата в Средней Азии. Два раза ранили и после каждой солдатской пули он рос и рос в чине и звании.

Комполка не любил заставлять солдат долго стоять по стойке ”смирно”, поэтому к крайнему неудовольствию парторга и замполита он, проворчав ”вольно”, стал бубнить положенное: ”Значит, так, коммунистические красные воскресники — одна из ярких форм проявления высокой сознательности и трудовой инициативы войск. Еще Владимир Ильич Ленин это говорил, поэтому воскресники имеют большое историческое значение. Так, значит, я объявляю воскресник, и чтоб каждый работал, приказ есть приказ. Лодырям вкатаю по пять нарядов вне очереди без разговоров. Всё. — И, обернувшись к офицерам, добавил: — Можете брать людей!”

Нам всем в строю вдруг показалось, что пришла грязная осень, а не весна. А в сущности ничего особенного не произошло, просто еще раз вместо воскресенья нам дали воскресник.

Парторг добавил поспешно и угрожающе: ”И помните, что воскресник есть коллективная добровольная работа в воскресный день”. От этих слов разгулялась в каждом жгучая ненависть. Комполка хоть прямо сказал после необходимых слов, что приказ есть приказ, говоря этим, что и глупый приказ тем не менее остается приказом. Парторг же открыто издевался над солдатами. Офицеры же

были злы и на парторга, которого считали сволочью и садистом, и на нас за то, что вынуждены будут целый день смотреть за нами, следить, чтобы мы работали, играть роль не боевых офицеров, а надсмотрщиков.

Одних послали рыть яму для новой офицерской уборной. Сотни солдат должны ходить в одну переполненную уборную, а десятки офицеров — в две. За одним унижением следовало другое. Мы были словно не людьми, защищающими свою родину, а уголовниками, которых нужно унижать, чтобы они подчинялись. Кого-то послали собирать на территории части бумажки, окурки, консервные банки. Что ж, как будто работа как работа, кто-то же должен ее делать.

Очистив свой участок, я услышал за спиной голос ротного: "Плохо работаешь". И ротный, вытащив изо рта окурки, бросил его себе под ноги. Он меня не выбирал, он унижил первого попавшегося за то, что хотел вот сегодня пойти на рыбалку, а вынужден был теперь следить за солдатским быдлом. Я поднял глаза. Они уперлись в плакат: "БОЕВОЙ УЧЕБЕ — БОЕВОЙ НАКАЛ". Затем глаза нацелились в живот ротного, и я искренне пожалел, что в руках у меня нет автомата. Я знал, что пройдет минут двадцать, десять или пять и уйдет из меня решительность. Но нужно было что-то сделать. Я подошел и отшвырнул сапогом окурки — и пошел на пять суток на гауптвахту, в ту камеру, что расположена дальше всего от отапливаемого коридора. Пошел с радостью, вспоминая белые от злобы глаза ротного.

На гауптвахте всегда думаешь много. Я сидел в холодной камере и мерз. В части постепенно надви-

гался вечер, а вместе с ним конец воскресника. Офицеры расходились домой, кто к женам, кто к бутылкам. Личный состав возвращался в казармы. И мне кажется, что если бы начальство умело читать солдатские мысли, то вряд ли оно было бы так спокойно.

ОФИЦЕР ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Военнослужащему срочной службы как будто прошлое ни к чему, он толкает время назад без оглядки. День прошел, еще один, еще, еще... Дождаться отпуска, демобилизации, отшвырнуть мундир, сапоги, надеть туфли и, ощущая легкость свободного шага, пройтись по родным улицам. А дальше во времени можно и вспомнить милое армейское, выбрать из армейского бытия что-то веселое, игривое. На худой конец можно и испытанное зло превратить в добро — иначе что расскажешь друзьям и знакомым? Как будто прошлое и не нужно, а вот гляди, демобилизовавшись, сам того не желая, говоришь о своем прошлом, не только говоришь, а искажаешь его, подчиняешь свое собственное прошлое нуждам дня, своему настроению.

А что же происходит с нашей историей? И для чего солдату знать, что было с историей его народа, что происходило хотя бы в прошлом веке с русской армией? А главное, откуда прийти этому желанию: я хочу знать прошлое, чтобы понять настоящее? Может ли такое желание появиться у солдата, пришедшего в казарму после суточного наряда по кухне? Или на посту? Или утром во время политин-

формации? Или вечером после политчаса или комсомольского собрания?.. Ум будет отказываться принимать и тем более запоминать слова, в которые мало кто верит. Будет сидеть солдат и делать вид, что слушает, будет не думать и, все же, — размышлять с усмешкой в мыслях.

О настоящем можно размышлять без особого толчка. Есть лживость газет, политучебников, и только одно возможно — отыскивать в этом ворохе неправды крупинцы истинной информации. Но как отыскать эти крупинцы правды в историческом прошлом? Ушедшие давным-давно события чувственно далеки от нас. Где ложь? Где правда? Можно по привычке ничему не поверить — и дело с концом. Или плюнуть на все. Мол, правда не правда, а мне от этого ни жарко, ни холодно.

Тут нужен толчок извне.

Пожалуй, для большинства молодежи, солдат до революции, значит, приблизительно, до нашей эры, а для советского солдата в особенности, русский солдат дореволюционной эпохи — музейный экспонат. А ведь и семидесяти лет не прошло, долгая жизнь человека не прошла с тех пор, как стала Российская Империя Советским Союзом. Стоит на посту, на параде или еще где советский солдат; на плечах погоны, в петлицах знаки отличия, и трудно ему представить, что его дед существовал в ином мире, где были другие моральные и духовные ценности, и что в том исчезнувшем мире дед тоже стоял на посту, был солдатом, просто русским солдатом. Трудно себе это представить, сидя в ленинской комнате. Солдат до революции? В ответ на такой вопрос советский солдат озабоченно поскребет затылок, неуверенно скажет: "Ну, служили тогда по двадцать

лет, прогоняли за чепуху сквозь строй и били этими самыми шпицрутенами, да вот еще белые офицеры могли запросто бить солдат". Знает солдат, что не было до революции "белых офицеров", но сказать просто "офицеры" неловко — его ротный, он тоже офицер, комполка — тоже офицер.

Километрах в двадцати от нашей части был довольно убогий колхозик. Никто не знает почему, но там люди продавали солдатам самогон дешевле, чем в других местах. Копеек на пятьдесят дешевле, но кто в течение нескольких лет получал в месяц три рубля восемьдесят копеек, тот знает, что ради скидки на полтинник солдат пробежит и полсотни километров. Улучив время, мы сбежали в самовольную отлучку в этот самый колхозик. Купили самогону и пошли к колхозным амбарам и складам разыскивать закуску.

Старика сторожа овощного склада я уже видел несколько раз, но как-то не обращал на него внимания. Дали мы ему десять копеек, он нам вынес помидоров, огурцов (мы их месяца три-четыре как не видели) и вместо того, чтобы распрощаться, спросил: "Правда, что в вашу армию ввели звание прапорщика?" Я ему ответил: "Правда, дед, точно, ввели. Только скажи, дед, наша армия разве и не твоя?" Старик спокойно ответил: "Нет, я воевал только в первую, Великую войну. Был ранен. В революции и гражданской войне не участвовал. Не смог". Мы были поражены. Кто-то из нас наивно спросил: "Сколько же тебе, дед, годков-то? А ты что, рядовым был в царской армии или как?" Старый человек усмехнулся: "Много мне лет, в прадеды вам гожусь. Теперь говорить можно, ничего мне не сделают теперь, поздно. Офи-

цером был, выслужился, а сам родом из крестьян”.

Удивление наше росло. Царский офицер родом из крестьян! Бывшему офицеру Его императорского величества, работающему сторожем в колхозе ”Заря”, врать было незачем, но спросили его на всякий случай, по-нашему, полуутвердительно, полувопросительно: ”Вреш-шь”. Старик сказал: ”Мне скоро уходить в другой мир, буду я грехи собирать. Из крестьян я”.

И тогда на него посыпались вопросы, нетерпеливые, будто готовились всю жизнь. Никогда не думали, не интересовались и вдруг бросились в новое знание о прошлом с удивительной жадностью.

— Срочная служба до революции сколько была времени?

— Сухопутные войска — три года, на флоте — четыре.

— Врешь! Не может быть.

— Может. И единственного сына в армию не брали, а был ли он кормильцем или нет — значения не имело.

— Врешь! Ну, да ладно, а сквозь строй прогоняли, розгами били?

— Отменили еще в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году.

— Врешь.

Мы повторяли это слово так, от удивления.

Это и был толчок, тот самый, пробуждающий в нас стремление знать то, что скрывается от нас с детства и часто до самой смерти.

СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ-ПОДКУЛАЧНИК

Осенние учения на Дальнем Востоке — лучшее и добрейшее время для солдатских плеч. На них не давит ни удушливый груз жары, ни леденящая тяжесть мороза. Во многом осень милостива к солдату. Проезжая деревню, он может добыть у жителей фруктов, которых полгода не видел в глаза. Осенью в часть могут подкинуть настоящей картошки. Осенью ты можешь найти и овощи и тогда вспомнишь, что зимой и весной у тебя или у твоего товарища был авитаминоз и кровоточили десны. Теплой осенью сглаживается и резкость отношений. Во время перерывов стрельбы или принятия пищи отойдет солдат в сторонку, расположится лицом к ветерку, достанет из вещмешка добытые в деревне помидоры, сливы — и уже хорошо, уже можно жить. Кто-то орет, сзывая всех на политинформацию, а солдат не слышит. В такие минуты хочется верить в хорошее, поэтому инстинктивно стараешься не видеть, не слышать злое, нудное. В такие дни сила, исходящая от земли, сильнее силы стоящей над тобой власти.

Однажды во время таких осенних стрельб, когда рывкание орудий не портит неба и даже замполит не в состоянии испоганить хорошее настроение, я увидел, обогнув ближайшую от расположения батареи сопку, пригорюнившегося паренька. "Если он при красоте такой бесится, — подумал я, — то зимой наверняка либо повесится, либо пристрелит офицера".

Пригорюнившийся паренек оказался наводчиком со второй батареи, и фамилия его была посконной и домотканной — Плетнев. Он оказался одним из

русских людей, не желающих бить слабого и сопротивляться сильному. Увидев меня, незнакомца, Плетнев вылил накопившееся горе. Чужому — легче. Рассказал, и вроде легче. А далее — до свидания, я тебя не знаю, ты меня не знаешь.

Оказалось, что ефрейтор Плетнев влюбился еще в прошлом году в девушку, прописанную в деревне, в которой стоял наш полк. Отец девушки, рязанский мужик, был сослан как подкулачник еще в начале тридцатых годов в Сибирь, а там дальше — на Дальний Восток. Все родные мужика умерли, кто — с голода, кто — в лагере, в общем как и водилось в те времена. Дочь была плодом поздней любви мужика с местной корейкой, которая, в свою очередь, померла от родов. Как говорил мужик: "Что-то такое моей старухе врачи неправильно сделали". Дочь выжила. И вот в эту дочь и влюбился бывший колхозник, а ныне ефрейтор наших славных вооруженных сил Плетнев.

Все было бы, может быть, неплохо, но приусадебный участок старика, мужика и подкулачника, граничил с землей старшины сверхсрочника, заведующего нашей полковой столовой Белобородова. Старшина своей властью использовал, как это делается повсеместно в армии, солдат для работы на своей земле. Но на земле старшины не росли ни помидоры, ни огурцы, ни прочие овощи, а земля соседа-подкулачника давала самые отменные урожаи. Старик любил землю, а солдаты, задарма потевшие на чужой земле, не любили старшину, поэтому и копали в поллопаты, и часто, прежде чем кинуть зерно в почву, перетирали его в руках, мол, на, старшина, ешь. Водой поливали себя, а не овощ.

От всего этого коммунист и старшина Белобородов приходил в дикое бешенство, и из-за этого всего невзлюбил коммунист Белобородов старика-подкулачника. Но когда он увидел, что в помощь старику пришел на поле солдат и что этот солдат работает с радостью (еще бы, Плетнев был уже без двух минут зять), то злоба в Белобородове переросла в жгучую, на все готовую ненависть. Он бросился на Плетнева с лопатой в руках, крича на ходу: "Самовольщик. Упрячу. Десять суток от имени командира части!" Но Плетнев был в самой законной увольнительной, и старшина, сдержавшись, не ударил, только пригрозил: "Ты у меня, подкулачник, узнаешь советскую власть".

Через день ефрейтор Плетнев пошел в караул на склады части. После караула начальник штаба полка и кондовый друг Белобородова по просьбе последнего придрался к Плетневу (гимнастерка была растегнута, сапоги не блестели, пряжка болталась, не вовремя отдал честь) и влепил ему пять суток гауптвахты. С тех пор лез и лез ефрейтор Плетнев, любящий девушку и землю, на свою советскую Голгофу. Кровянила ему душу эта власть, а он продолжал хорошо служить ей, более того, после окончания тех осенних учений, на которых я с ним встретился, командир полка лично, несмотря на возражения начальника штаба, объявил Плетневу отпуск. Я за него порадовался. Тогда за сопкой я ответил на его рассказ: "Смотри, брат, будешь упорствовать, сломают тебя, никто не защитит". Узнав, что ему дали отпуск (наводчик он был, правда, первоклассный), я изменил мнение, и решил, что справедливость, вероятно, все же существует. Вышло, что ошибся.

Плетнев не уехал в отпуск к себе в Рязань. "Колхоза своего я, что ли, не видел, — сказал он. — Мать умерла, отцу дела нет, все боится и боится, будто ничего другого на свете нет. Останусь тут, женюсь, авось и будет радость". Остался. На седьмые сутки отпуска под вечер, когда Плетнев копался на участке будущего тестя, на него набросились солдаты из комендантской роты. Избили, что-то сломали в позвоночнике. Калеча парня, пьяные ребята из комендантской роты орали, что он мародер и сволочь, что он грабит людей. Кто им это сказал, кто приказал, кто указал место и время — осталось, разумеется, неизвестным. Ефрейтора Плетнева комиссовали, и он, искалеченный, куда-то уехал — спина его была серьезно повреждена, работать на любимой земле он больше не мог, а жить в деревне без земли он счел глупым.

ДО И НЕМНОГО ПОСЛЕ

Последние полгода действительной службы радикально меняют психологию солдата. Армейская жизнь лишается своей устойчивости. Военнослужащий привык с радостью отмечать каждый уходящий день и видеть демобилизацию всегда на горизонте. И вдруг — полгода! К черту мечту об отпуске, все равно уже не дадут, да и с самовольными отлучками надо поосторожнее — шесть месяцев осталось. Так думает солдат, и его охватывает яростное желание отбыть из части непременно первым эшелонам. Старик-военнослужащий занимает выжидательную

позицию, говорит начальству: вы меня не трогайте, я вас не трону. А начальство ему отвечает: нет, дружок, ты служи как подобает, воспитывай молодых солдат, как мы велим, тогда, так и быть, уедешь первым эшелоном.

Помню, сержант из моей роты Боюк как-то позвал меня после отбоя из казармы на вольный воздух. Последнее для нас армейское лето было душное, ноги в последних выданных сапогах плавали в поту, и вольный воздух вокруг казармы назывался вольным только потому, что наш разговор никто не мог подслушать. Боюк мне доверял, я ему — тоже. Одно время наши койки стояли рядом, разговоры по ночам были жаркие, особенно о Чехословакии, но один на другого не донес. Кроме того, мы с ним были свидетелями, как во время одного учения рядовой Урусов, бешеный от недосыпания, заорал: "Моя мать в деревне рыбные консервы да черствый хлеб жрет, а я должен тут на радость этой сволочи землю рыть, да еще уверять, что жизнь с радостью отдам, лишь бы они остались, лишь бы командовали. Дудки!" Передаю слова Урусова в смягченном виде, парень был вне себя. Он любил хозяйство и землю и сквозь успокаивающие слова матери в письмах: "Служи, сынок, а мы уж как-нибудь", — он видел отчаянное положение у себя дома. Урусов тогда бросил кирку и, оставив окоп невыкопанным, ушел спать в тягач.

Присутствовавший, кроме нас, старший сержант Москаленко быстро сказал, как только Урусов ушел: "Вы слышали, вы все слышали, вы будете свидетелями. Ты, Боюк, слышал, что этот кацап сказал. Он, гад, против советской власти пошел!" Мы с Боюком переглянулись и как-то одновремен-

но ухмыльнулись в лицо старшему сержанту. Боюк удивился издевательским удивлением: "Мы разве что-нибудь слышали, Щетинский, а? По-моему, ничего. Что-то у тебя, Москаленко, начались слуховые галлюцинации, лечиться тебе пора". Старший сержант, прошипев, что мы оба гады, что все гады и все против советской власти пошли, ушел, бормоча угрозы.

Мы остались с Боюком вдвоем, и мир вокруг после нашего поступка казался куда чище и лучше, нежели раньше. Боюк сказал мне: "Видал, на национализме хотел меня подцепить, мол, я хохол, он хохол, а Урусов кацап. Гнида. На все он готов, лишь бы второй отпуск заработать". Я кивнул ему, и мы, оба младшие сержанты, пошли к тягачу спасать Урусова. Помню, разбудили салагу, он первый год служил, намылили ему шею за то, что болтает себе на погибель, мерзавцам на радость. Сунули Урусову кирку в руки и послали докапывать траншею.

Правда, месяца через два Москаленко все же получил свой второй отпуск. Кого он продал, чью жизнь загубил — не знаю или не помню. Такая уж у нас армия, что мерзавцам легче живется и служится.

В общем, не удивительно, что в ту летнюю ночь Боюк захотел поговорить именно со мной. Мы оба не добивались сержантских лычек, оба старались остаться честными, по крайней мере, по отношению к самому себе. Оба хотели быть солдатами и только солдатами. И всегда получалось, что мы оба хотели невозможного. Я почти два года мечтал об отпуске — второй после демобилизации высшей радости военнослужащего действительной службы. И когда мне его пообещали, я как-то взял и сказал, что изу-

чение материальной части важнее политучебы, солдата надо учить стрелять, а как любить родину — он сам знает. В отпуск я, конечно, не поехал и был занесен к тому же в черный список особого отдела.

С одной стороны, было обидно — рушились лелеемые надежды, но, с другой, — пришли ко мне уверенность и спокойствие. Я сделал то, что велела совесть. Я знал, что теперь уеду домой последним эшелонем, что увольнительных ждать не стоит. Нужно было ждать и терпеть. В сущности, когда человек делает то, что подсказывает совесть, ему никакие ошибки не страшны. Моя ошибка была чисто тактической — я проиграл несколько месяцев жизни, но стратегически я победил — остался самим собой и, чего греха таить, довольным самим собой.

Боюк был тоже занесен в черный список. Он мне сказал: "Меня сегодня начштаба вызывал и сказал, что, мол, ты, Боюк, допрыгаешься. И добавил, что ежели я хочу демобилизоваться вовремя, то, как замкомвзвода, должен добиться в кратчайший срок, чтобы ребята боялись меня больше смерти. И еще начштаба добавил, чтобы я перестал с тобой дружить. Обещал за это все отпустить домой на три месяца раньше срока, сволочь". Боюк волновался, и я его понимал. Он ненавидел армию потому, что до призыва верил в нее. Был он, очевидно, романтиком, видел в наших вооруженных силах какой-то идеал мужества, стойкости, верности. А армия его встретила, как говорят, "мордой об стол". Но с Боюком случилось то, что, увы, случается с многими ребятами. Вынеся из уже армейского опыта отвращение, он стер в памяти отвращение к кол-

хозному существованию, которое было у него до армии. Гражданская жизнь стала мечтой и в этих мечтах все, даже колхоз, приукрашивалось. Если на гражданке освобождением казалась армия, то теперь, наоборот, гражданская жизнь казалась воплощением свободы. Боюк не мог соединить одной веревочкой армию и колхоз, не мог признаться самому себе, что армия и колхоз одинаково уродливые порождения одной системы. Парень искал места под солнцем, где можно было свободно дышать, и все еще упорно верил, что такое место есть.

В ту летнюю ночь я сказал Боюку: "Ну, что тебе посоветовать? Для меня быть в нашем мире хорошим человеком — уже много. Ты все равно не можешь быть гадом, так чего тебе тревожиться? Торопишься на гражданку? Думаешь там найти красоту? Хорошо там, где нас нет. Пошли начштаба к чертям, он к этому не привык. Я это сделал и успокоился. Не мечтать надо, а отпихивать ложь. Ты кстати знаешь, что за наш разговор нам могут вклеить минимум три годика дисциплинарного батальона. И все будет по уставу, но не по армейскому, а по партийному, по государственному".

Я сам с удивлением вслушивался в свои слова. Они вырывались почти против воли. А завтра я буду в строю петь глупые песни, буду выполнять приказы. Сапоги будут стучать, глаза будут глядеть в невидимую точку. Тот правдолюбец во мне будет молчать, может быть краснеть от стыда.

Осталась эта армейская ночь в памяти. Боюк хотел и остаться честным человеком, и демобилизоваться раньше срока. Через месяц после нашего разговора пришли в часть вербовщики, объявили будущим дембелям: "Кто хочет поработать на

Дальнем Севере, тому немедленную демобилизацию и подъемные". Боюк согласился. У добровольцев забрали военные билеты и без документов увезли в какой-то леспромхоз.

Два года спустя, уже демобилизовавшись, я узнал, что Боюка посадили на пять лет. Он, оказываясь, хотел вернуть подъемные и обрести свободу. Леспромхоз от денег отказался и военный билет ему не вернул. Боюк сам захотел вернуть себе свои документы, забыв, что военный билет и он сам — государственная собственность. Дали пять лет. В армии говорят: "Гуляет правда, она иногда оставливается в солдате, но в штабе — никогда".

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ СОЛДАТА

Советский солдат — это гражданин страны, отдающий себя на два года государству. Он попадает в мир, в котором, окруженный дисциплиной и уставами, старается не понять, а скорее прогнать все неясное из своего мышления. Тем более, что ему не устают повторять, что чем меньше солдат думает — тем лучше для него. И часто, став военным служащим, человек поддается стремлению власти его обезличить. Тем более, что политдолбежки в армии во много раз больше, чем где бы то ни было, да и армейская цензура более придирчива, чем гражданский Главлит. Одно то, что во многих армейских библиотеках Достоевский запрещен, уже о многом говорит. К тому же почти во всех частях

подписка на журнал "Иностранная литература" запрещена.

Я помню себя мечтающим о сне, о лишней гимнастерке зимой, о стакане холодной воды летом, о хороших яловых сапогах, но не о свободе. Я чаще думал о будущем завтраке, о двадцати граммах положенного сливочного масла, чем о солдатской чести. А мечта об отпуске была мечтой о земном рае. Ни я, ни мои друзья не крали, старались быть честными друг с другом и лукавыми с начальством, старались не эксплуатировать салаг-первогодников, старались не потерять в себе человека. Некоторые теряли, еще месяц назад был как будто парень как парень, а сегодня готов любого продать, чтобы не посадили, чтобы дали ему отпуск, чтобы почаще получать увольнительные, чтобы раньше демобилизоваться. Ломали таких ребят! И становились они хуже врагов.

За мою службу мне не приказывали стрелять в свой народ. Повезло. Я знал людей, которые это делали и после находили свою совесть в страшном, изуродованном виде, неизлечимо больной. А были такие, что забывали. Для меня это было еще страшнее.

А сколько ребят во все времена отказывались нажимать на спуск и стрелять в тех, кто мог быть отцом или братом! Статистики нет, наверное, никогда не будет. Ни имен, ни фамилий. Да разве только в своих солдаты отказывались стрелять! Двадцать лет назад те же солдаты, что и сегодня, отказывались стрелять в венгров. Были и такие, что пускали себе пулю в лоб или переходили на сторону венгров. Можно по-разному о них говорить, но одно мне кажется ясным: их не смогли обезличить, они

судили по своей совести, зная при этом, что власть не щадит тех, кто сумел сохранить свободу совести и пробиться к свободе мысли. Я встретил одного человека, который отказался стрелять в своих в одном бастующем дальневосточном поселке где-то неподалеку от озера Хасан. Он отдал за это семь лет одной свободы, сумев при этом сохранить другую, свою, большую, может быть, вечную. Он был счастлив суровым счастьем от исполненного долга, не долга перед властью, а — перед собой и людьми.

ПРИКАЗ 281

Приказ министерства обороны СССР за номером двести восемьдесят один есть "расписание" болезней, с которыми в армию не берут. В это расписание входит слабоумие, шизофрения, паранойя, психостения, невращения и многие другие болезни, некоторые ясные, другие смутные, названия которых служат диагнозом, когда врачу трудно определить болезнь. Если говорить не об офицерах, а о солдатах, то можно с легкостью предположить, что среди военнослужащих действительной службы душевнобольных совсем мало, прямо-таки ничтожное количество. В армию идут молодые парни от семнадцати до двадцати пяти лет. А до того, как попасть на сборный пункт, будущий призывник проходит множество медкомиссий. И как будто достаточно военврачам найти в человеке какие-нибудь серьезные признаки, скажем, нервного заболевания, чтобы он был списан в запас или вообще получил

на руки белый билет. Все было бы так, если бы...

В нашем случае можно сказать: если бы военкомат интересовался людьми, а не проклятым всемогущим планом, если бы в военкомате заседали врачи, давшие клятву служить человеку, если бы в том самом военкомате сидели люди с совестью, а не тупые армейские чиновники... И тут уродливейшим долгом врача перед властью есть стремление не нащупать болезнь, не поставить диагноз, не лечить наконец, а искать симулянта. Правда, нужно учесть, что в военкоматах, военных госпиталях и военных дурдомах чаще всего работают подневольные врачи.

В общем, согласно плану военкомата отправляют парней в армию, не очень присматриваясь, как сказал один военврач, к дурацким тонкостям организма. И только, когда солдат на посту начинает палить из своего ОК, ОКМ или СКС в разводящего и смену, когда погибает несколько человек, несколько ребят двадцати лет от роду, тогда только начинают говорить о неврастении, неврите, неврозе и Бог знает еще о чем. И тогда больных солдат отправляют в военные дурдома, из которых они уже не выходят в течение всей своей жизни. Угробленные жизни на посту, угробленная жизнь в дурдоме. Сколько таких уничтоженных жизней вспыхивает и пропадает каждый месяц! Это знают немногие, те, кому положено знать и кто не проболтается. Заколдованный круг.

И есть, конечно, чего таить, простые симулянты — те, которые не хотят служить вообще. Такие есть в любой армии. Зло есть везде, и человек чаще всего ищет не добра, но наименьшего зла. Таких парней, таких солдат я и в армии не судил, и не я

брошу в них камень. Причин тут много и каждый их знает по-своему. Тоска, лень, ощущение бытовой безысходности.

К приказу двести восемьдесят один были приписаны различные дополнения, тайные, чрезвычайно тайные, строго секретные и так далее и тому подобное. К разным дополнениям прибавляли другие дополнения, и так уже десятилетия.

На Дальнем Востоке в шестидесяти километрах от китайской границы существует станция Ледяная. С одной стороны Благовещенск, с другой — Хабаровск. Вокруг сопки и ни живой души. Сама Ледяная лежит в глубокой котловине и в ней расположена ракетная часть. Это не государственная тайна. В Ледяной, в ракетной воинской части произошел случай, после которого кое-кто узнал о существовании не так далеко от Ледяной психиатрического военного госпиталя или вернее военной психотюрьмы. Она до сих пор существует в местечке Бикин.

Фамилия парня была Ворковский или Сосновский. Был он сержантом. Был на боевом посту во время тревоги точно по спидометру. Будучи разводящим или помначкаром, разводил наряды по уставу. В общем, придраться начальству было не к чему. Что произошло с ним, никто точно не скажет. Может быть, он стал читать и думать. Может просто стал думать. Может встретился с кем-то. Но этот парень как-то сказал, что если бы СССР начал захватническую войну, то он не послушался бы приказа. Его вызвал к себе лейтенант, затем капитан, после его выслушали замполит, парторг, командир части. Один ему говорил: "Ты чего, спятил, что ли?" И он отвечал: "Разве я говорю неправду?!" Другой предупреждал: "Смотри, схлопочешь". Па-

рень говорил: "Я ведь против своего народа не пошел". Замполит угрожал: "Знаешь, что тебе будет за антисоветскую пропаганду?!" Сержант спрашивал у замполита: "Разве я выразил антигуманную мысль?" Парторг вопрошал: "Ты что такое говоришь, разве может советская власть вести захватнические войны! Одумайся!" Парень в ответ спокойно и уверенно: "Если не может делать такое наша власть, так чего же шарахаться от моих слов. Тогда все в порядке". Командир части в бешенстве от возможных неприятностей орал не своим голосом: "Посажу, гад, контра, сволочь!" А ракетчик кричал ему в ответ: "Пусть мне сперва скажут, почему отказ выполнить приказ захватить чужую страну есть преступление против советской власти?"

Дело было щекотливое. После некоторого раздумья парня объявили по приказу № 281 шизофреником и отправили в психиатрический госпиталь-тюрьму, расположенный у станции Ледяная. Много времени спустя ребята рассказывали мне, что ракетчик выдержал пять лет, а затем, чтобы не сойти с ума, покончил с собой.

Еще один лист, не случайно сорванный с древа жизни.

УСТУПЧИК

И что занесло его на австралийский континент? Даже не дуновение ветерка истории, а так, сквознячок. Казалось, жизнь выковыряла изо всех пор сознания контуры капитана Взбышко, но его профиль, мелькнувший в мельбурнской толпе, заста-

вил меня вдруг недоуменно окликнуть его по фамилии. Не переставая похлопывать друг друга по плечам, молчали, словно настоящее было таким ничемным, и только прошлое противоречиво поблескивало в наших глазах грустью вперемежку с яростными искорками.

“У тебя печень в порядке?” — спросил серьезно Взбышко.

Богатый видом ресторан, куда мы вошли, напоминал тоску пустынного улья. Мы сидели, все еще молчали и ждали, пока принесут русскую водку. Мы — два предателя родины. Он с 44 года за дезертирство, я — с 71 за антисоциалистическую пропаганду и бегство на Запад.

Он блекло заговорил о семье и увлеченно, как все здешние сельские жители, об овцах. А прошлое в нас разгоралось все сильнее и сильнее.

Это было на Кавказе, когда немцы рвались к Эльбрусу. Впереди было обыкновенное по своей привычности недумание о смерти, позади в спину стреляли горцы, вызывая путаницу в умах, страх непредвиденного и тупую злобу. Мир словно разбухал от неподвижной духоты, цепко скованный высоким желтым солнцем.

Дурман от разлагающихся трупов невидимыми облаками окутывал две противотанковые батареи, стоящие на предэльбрусных лужайках: одной командовал Взбышко, другой — я.

Приходя к нему в землянку, смотрел на курносую мясистую телефонистку. Спасаясь от запаха, она каждые две минуты обтиралась одеколоном. Если была вода — пили чай. Источник тек в трехстах метрах и обстреливался круглые сутки. Только обложившись трупами, можно было до-

ползти до этого жидкого счастья, — если... уберешься от прямого попадания мины, разрывающей мертвых и живого на шмоточки.

Я завидовал Взбышко, он мог забывать о вони в кольце рук и ног телефонистки.

Неожиданно, вопреки донесениям разведки, немцы нанесли танковый удар по нашим позициям. Острое врезалось в батарею Взбышко. После часового боя, в котором погибла почти вся моя батарея, я, наконец, получил приказ отступить. А орудия Взбышко были раздавлены гусеницами, личный состав разбежался. После я узнал, что он был разжалован в рядовые и отправлен в штрафбат, откуда перебежал к немцам...

Водка быстро теплела, с противностью ее вкуса не гармонировали фужеры, хрусталь. Жестяная кружка в руках непременно сказала бы какую-нибудь прошедшую правду. "Послушай, я связистку вспомнил, — сказал я, — она была очень приятна молчаливой ласковостью".

"Дрянь она была, — убежденно выдохнул Взбышко. — Замусолила меня тогда, я и размяк. Сидели в землянке, как сейчас помню, а солдаты ведь все знают, вот у них слюнки и текли, какая же тут бдительность. Ты ведь знаешь, в жару умирать особенно некрасиво, может быть, поэтому любовь ее так бешено... (он запнулся) и сияюще цвела, необыкновенная жизнь шла из нее. Она часто смотрела на дерево на уступчике, искалеченное минами, и говорила, что хочет жить под ним со мной в дырявом шалашике, чтобы иногда видеть звезды и дождь... Я себя чувствую мерзким поэтом, когда я думаю о ней... Я ей сказал, что буду любить ее всю жизнь. А тут как раз взбесился телефон. Голос,

разрывающий перепонки, орал: "Сволочь, спишь?! Танки! Танки, сука!" Она пыталась нежным голосом объяснить себе и мне что-то необъяснимое (я понял это потом), но я закричал ей: "Отстань, сука, дрянь! Танки!" Нет, не помню, но сказал одно слово, пока натягивал портупеею, какое-то одно слово. Что было дальше, ты знаешь... Но после боя я вернулся. Немцев не было, и я смог найти ее. Она лежала под тем самым деревом (он вдруг смутился). Я узнал ее по ногам, это было все, что осталось от нее, от ее ласк. Потом штрафбат, ранение, сдача в плен, много всякого было, а вот ноги, месиво ее тела, обугленное дерево на уступчике — не уходило никогда из моей желчи, острой, вызывающей то странную радость, то удивительную боль. И часто, в самые нелепые моменты, вижу любовь, стоящую без жалости над месивом ее тела. Вот и мучаюсь иногда через нее".

Взбышко пьянел быстро, смотрел на обрубок своего мизинца и повторял, что пью я по-русски, по-нашему. А я чувствовал по-детски обиду за что-то большое, превратившееся во хмелю в обиду за девушку из землянки. Когда прощались, он сказал: "Я не тоскую по родине. А ты?"

В его глазах было столько тоски, что я только пожал плечами.

ЗАСАДА

"Не мотор, а похоронный марш". Водитель Виталий Килеев сказал это без особой горечи — его "Урал" не был сегодня головным. Да и утром он

подсчитал, что до дембеля осталось ровно четыре месяца. И прощай тогда Афганистан. Будь ты проклят во веки веков за то, что существуешь, что мы здесь воюем.

Килеев испытывал ненависть к афганцам только в минуты опасности, страха. А в общем, он считал себя уравновешенным человеком, психовал редко, да и жила где-то глубоко в нем вера в судьбу, от которой не уйдешь. Вокруг него просыпался Кундуз, вшивый городишко, вонючий летом, холоднющий зимой.

Подчеркнутая вежливость жителей показалась вначале Килееву добрым знаком, мол, боятся они, афганцы, нас, но и уважают за силу, за мощь. Не попрут же они против СССР! Глупо, губительно, безнадежно.

После первой же засады мнение Килеева изменилось. Бандиты знали с предельной точностью, в какой машине сидит радист, в какой офицер. Капитану Полушкову одна из первых душманских пуль пробила голову. Наповал. Афганский гранатомет выстрелил только один раз — прямым попаданием в грузовик с боеприпасами. Когда прилетел вертолет, все было кончено. Колонна потеряла только убитыми больше отделения. А был ли убит хоть один афганец, Килеев не знал. Он и не думал об этом — впервые в жизни он столкнулся со сладковато-тошнотворным запахом смерти. Он помог прапорщику Селезню перевязать раненную ногу. Тот требовал, чтобы ему дали афганца, любого, и смачно описывал, что он будет с ним делать. Только тогда Килеев вспомнил, что он, оказывается, действительно воюет в Афганистане, чуть не был, вот, убит. И после этой первой засады тело Килеева

впервые, с необыкновенной яростью захотело женщину. От этой страсти на минуту закружилась голова.

Прошло много засад с тех пор, много смертей увидел Килеев. Раньше, говорят, подсчитывали время до дембеля метрами съеденной селедки, банями, стоптанными сапогами. Теперь — засадами. В среднем одна засада в месяц. В Союзе быть водителем "Урала" означало везение, сладкую жизнь: склады, остановки, деревни, добрые старушки, охочие до ласки бабы. Нет тебе караулов, других нарядов, да и денегат можно подзаработать. Главная опасность — не попасться в лапы к бабе, не жениться; не наглеть и грабить понемногу. Только и всего. А быть водителем в Афганистане — страшнее нет. Лучше всего сидеть, окруженным бетоном, и ходить в наряд на кухню. Чтоб вокруг бетона были танки, колючая проволока, минные поля. А так — дыра в ветровом стекле, а заодно и в голове. Каждую минуту, секунду может тебя хлопнуть афганский снайпер. А у них, говорят, все снайперы, особенно горцы. Они на свет появляются с винтовкой в руке.

Нет ничего на свете противнее гор, думал часто Килеев. Загруженный по самые борта "Урал" так воеет, что собственной смерти не услышишь. Хуже всего головному — ему первая пуля, камень, мина. Чаще всего водители идут головными по очереди, иногда тянут жребий. Командиры уже давно не решаются посылать приказом водителя головным — ненависть обеспечена. Уже не один офицер поплатился жизнью за наглость, либо за то, что отдал приказ и сам сел в кабину головного грузовика. Также безумно следовать за бензовозом, лучше уж

ехать спереди, как будто остается шанс. В прошлом месяце майору Трубецкому, хозяйственнику, всадили штык в горло, ночью и в собственной его палатке. Не успел майор толком проснуться, как его уже принял ад. Кто? Так много ребят было, желающих его смерти, — грабил он уж слишком безобразно, лишал слишком нагло солдат положенных калорий.

По вечерам перед отбоем часто писал Килеев домой, в Зуево, письма матери. Письма были всегда бодрыми, уверенными, и в них было столько нежности, сколько Килеев за всю довоенную жизнь не отдал матери. В ответ она писала, чтобы сын не простужался, съедал все, что ему дают, чистил зубы, как это делают культурные люди. И Килеев чистил. Писал он много и Тане. О ней Килеев вспомнил после первой засады. Учились вместе с 5 класса. Почему он избрал Таню невестой, Килеев не знал. Раз или два целовал ее на школьном вечере, в парке. Но дальше этого Таня не пошла, и Килеев забыл о ней. Теперь он ей писал даже о том, к какой стене приставит шкаф в их будущей комнате или квартире, как назовет сына и как дочь. Но от третьего ребенка Килеев отказывался. По нынешним временам и двое — много, даже слишком.

Об афганцах как о людях Килеев почти никогда не думал. И ничего к ним не испытывал. Ни хорошего, ни плохого. Во время засад он стрелял, выпускал свои четыре рожка куда-то вверх или вниз, но был уверен, что никогда ни в кого не попал, да и стрелял он не в людей. Просто, стрелял, потому что так положено. Тех называли душманами, басмачами, бандитами, американскими собаками, просто афганцами, но Килеев, повторяя

иногда эти слова, на самом деле никак их не называл, глупо для него было называть пули иначе, чем пулями. Глупо, действительно, называть гранату басмачом.

Вдруг раздалась команда: "Привал!" Кто-то заинтересовался: "Что такое?" "Разведка мины нашла, саперов послали". "Вы что, ох..., в ущелье же стоим. Жить надоело?!" Это разрывался из соседнего "Урала" лейтенант Балашов, ненавидящий командира колонны подполковника Свистелькина за тупость и самодовольство. До Пули-Хумри оставалось километров десять. А после нужно было пройти Саланг. Балашов продолжал орать: "Нужно вылезти отсюда. Нас же накроют, что, они просто так здесь мины поставили? Нужно поставить на головной пулеметы и подметать дорогу. А Свист все свистит".

Но было уже поздно. Да и все равно подполковник Свистелькин никогда не послушался бы совета лейтенанта Балашова. С десятков "Уралов" взлетели на воздух. Гранаты сыпались, как град. Главным стало не попасть под автомат своего же. Все палили в божий свет как в копеечку. Запах внутренностей, кала и мочи окутал Килеева. Он знал, что запах смерти придет после. Вдоль колонны метались бронетранспортеры прикryтия. Замыкающий колонну танк бил, задрав дуло, вверх. Лежа под своим "Уралом" Килеев думал, что если теперь или через минуту, даже с четвертью, на него свалится граната, то ни от "Урала", ни от Килеева ничего не останется. Совсем ничего. Он также подумал, что следовало бы все-таки расстрелять все четыре рожка. Надо снять предохранитель, постараться, чтобы не очень дрожали руки. Все вышло неплохо. Килеев высунул

из-под машины свой АКМ и стал всаживать в камни одну очередь за другой. Ему кто-то как-то сказал: "И здесь цветет сирень, только она не наша". Вспомнив об этом, Килеев стрелял и повторял сквозь зубы: сирень, сирень, сирень. Рев МИГа показался ему лаем спешащей ему на помощь любимой собаки. Хотя, что мог сделать МИГ, летевший слишком быстро? Все же засада прекратилась.

Килеев себя обшупал — ни царапины. Он снова напишет вечером бодрое письмо матери, страстное — Тане. Расчистили дорогу довольно быстро, погрузили трупы, около тридцати. Что осталось от подполковника Свистелькина, положили отдельно. Балашов не мог скрыть удовлетворения: "Есть все-таки справедливость". При этом он смотрел на небо, но все знали — говорит он о Свистелькине. Колонна тронулась. Люди хотели пить.

За полтора месяца до дембеля младшему сержанту Килееву оторвало в засаде левую кисть.

ЛЮДИ НА ПРИВАЛЕ

От деревни почти ничего не осталось. Называй кишлак деревней или не называй, от этого дело не меняется — дома надо разрушать, людей надо убивать. Работа трудная, даже если жертвы особенно не сопротивляются. Казалось, за два года почти непрерывных операций по очищению территории дружественного Афганистана от душманов или, как говорили в батальоне, от населения, капитан Игорь Белоус и его люди должны были бы привыкнуть ко

всему... Позади остались ощущение странного медленного самоуничтожения, тупой взгляд, направленный на собственную рвоту, обход женских и детских трупов, знание, что невозможно будет по возвращении домой добродушно вспомнить собственное детство. А самовнушение? Сколько ребятам повторяли, что нельзя живым попадать в руки душманам, замучают, изуродуют. Звери они, а не люди. Да и были бы они людьми, давно бы сдались, не могут же они думать, что есть у них, у афганцев, хоть один шанс на победу. Ну, устроят им колхозы, эка невидаль. Не хотите, тем хуже для вас, заставим вас, дураков, родину любить, не на этом, так на том свете. Подобная странная логика, согласно которой выходило в сущности, что слабый не имеет нравственного права защищать родной дом, родных, веру, приносила свои плоды. Попадавшие в засады ребята стрелялись, бросались на смерть похлеще Матросова.

Но вот теперь, подумал капитан Белоус, глядя, как все четыре отделения садились в бронетранспортеры, — наступила усталость, от которой не спасают даже хорошо подобранные слова. Люди не хотят больше звереть. Я скоро получу звездочку, а кому, скажите, не хочется стать майором в двадцать шесть лет. Не было бы войны, был бы я как пить дать еще летиком-лейтенантиком. Странно, но я сам не хочу больше ни убивать, ни погибать, хотя наверняка буду еще убивать и, возможно, даже и погибну. Глупо все это, решил Белоус, но тут же философски спросил себя: "А что не глупо в нашей действительности?"

К чужой местности и стране все давно привыкли, потому, найдя привычно позицию, непригодную для

засады, капитан Белоус разрешил привал и обед. Афганское лето жарило всюду, и капитан видел, как сержанты следили за тем, чтобы позабывшие себя от усталости и напряжения люди не снимали пилоток. Поставь свой АКМ на предохранитель, растегни гимнастерку — и баста. Капитан вытащил бинокль, проверил местность, позволил себе успокоиться. Под камнем, на котором устроился капитан, расположилось отделение сержанта Байкова. В безветрии запахло анашой. Белоус видел, как люди доставали одеколон, как лили его в брезентовые кружки, как сыпали в одеколон так называемую любовную улыбку, белый порошок, которым можно как будто чистить зубы. Капитан наблюдал, как его люди после, вставив в зубы кусок рафинада, тянули отраву. Он знал уже давно, что жизнь дороже уставов и дисциплины. Не один глупый офицер получил за ретивость, за упрямство автоматную очередь в спину, и все понимали — сыграла круговая порука. Уж слишком привыкли люди убивать себе подобных, причем безоружных, чтобы их могли остановить звездочки на погонах, звание и должность, раса, национальность и прочая чепуха. Им, в сущности, было даже как-то приятно прикончить человека, которого они могли искренне считать сволочью, ублюдком. Поэтому капитан Белоус почти дружелюбно смотрел, как одурялись его люди.

Он ничего не сказал, когда ефрейтор Тычук начал вдруг паясничать: "Награждается ефрейтор Тычук Владимир Петрович за отличные действия на тактическом учении". Гордым будет мой папаша от этих слов, письмо из части всем на селе показывать будет. А я ему пошлю в письме... что, что ему по-

слать... пошлю афганский глаз со всеми прожилочками..." Сержант Байков его перебил: "Не дури, нечего. А то я у тебя самого глаз выйму. Понял? От таких слов точно потом под пулю попадешь или на мину наскочишь. И комбат вот слушает, еще двойку нам вклеит".

Все расхохотались. Молодец этот Байков, подумал капитан, молодец, умеет воевать, людей держать. Не видать ему отпуска. Слишком он нужен. Автоматная очередь заставила капитана вздрогнуть, но он преодолел дрожь, не дал дойти ей до лица, хотя пули прошли в нескольких метрах от него. Раздались приветственные возгласы. Кто-то опять баловался на спор: кто испугает офицера, тот и получит право на полкосяка анаши. Десантников вообще считали смертниками, их трудно было испугать трибуналом, дисбатом, штрафбатом. Некоторых можно было испугать все же письмом матери, отцу, бабушке, но нужно было перед этим точно узнать, кого парень любит больше — мать или бабушку, а, удостоверившись, необходимо было, чтобы он понял: если убьет офицера, письмо все равно будет отправлено. Белоусу пришлось дважды застрелить солдата. Раз один салага рехнулся и стал палить по своим — капитан снял его карабином. Второго пришлось застрелить за трусость: прятался, а после орал всякую чушь про опричников и душегубов.

А под камнем уже начались анекдоты: "Идут двое наших, навстречу им по кабульской улице имени Ленина двое афганцев. Один из наших раз и застрелил их. А второй спрашивает: чего это ты? Тот отвечает: чтоб не топтали эти афганцы мою кабульщину". Анекдот был старым и смех был старым. А

рядовой Петухов уже свой анекдот придумал: — У деда куча медалей. Есть "За освобождение Варшавы", "За освобождение Праги", да нет, не в шестьдесят восьмом, есть "За взятие Берлина". А я хочу "За взятие Кабула" и "За освобождение Афганистана". Хохот, который услышал капитан Белоус, был тоже почему-то старым. Только когда заговорили о бабах, капитан успокоился, тем более, что начали люди вспоминать своих невест, не так уже важно, кем была та или иная Таня-Маша на гражданке, пусть даже последней стервой. Все они становились в Афганистане нежно любимыми невестами, достойными лучших стихов. Некоторые вообще никогда их не видели, просто находили адреса, начинали переписку и влюблялись наповал. В письмах описывалась суровая природа Афганистана, тоска по стране, интернациональный долг, просьба прислать фотокарточку или утверждение, что она у него на груди и что попортить ее сможет только душманская пуля. Перечтя письмо, написанное интеллигентом роты за косяк анаши, человек говорил: "Красиво написано, можешь же ты такое сделать. И про глаза еще накатай, чтоб в ней что-то произошло". И интеллигент, кривя издевательски рот, дописывал что-то про глаза.

Убедившись, что люди успокоились, капитан позвал прапорщика Краснова и приказал ему поднимать личный состав. И с облегчением вздохнул: операция и привал прошли успешно.

САМОВОЛКА

Глаза Синцова были воспаленными, хотя сон в отпуску был хорош особенно приятными видениями, словно служба ушла совсем в прошлое. А, возможно, подсознание просто читло отпуск, не хотело внутреннему беспомощному зрению показать состояние души солдата. А то плюнет в нее солдат — и пропал отпуск, святая святых, и станет водка не веселым забытьем, а причиной открытого самокопания. Об убитых им двух женщинах младший сержант Василий Синцов все-таки вспомнил и заговорил на пятый день в одной из лучших закусовых Харькова, где бывали иногда отменные шашлыки. Из гражданских друзей Синцов встретил в родном городе лишь больных, да ловких и хитрых, да счастливых блатом, да еще студентов. Остальные, как и он, бегали под погонами. О том, что Синцов попал в Афганистан, узнали все и сразу. Мать об этом шептала, бабка молилась, а друзья пили несколько дней за то, чтобы выпить вместе с ним афганской водки. "Нет там водки, — сказал им потом Синцов. Ни крепляка, ни самогонки, ни хрена там нет... И после паузы добавил, — хорошего".

Узнав, что Синик, как звали его ласково свои, получил отпуск, друзья не мешкая пришли в гости. Обнимали, ощупывали, и сами удивлялись тому, что цел этот бродяга, что рядом сидит. Бытие заело, а так, оказывается, они любят Синцова гораздо больше, чем казалось, чем подумалось бы. В первую же пьянку, через час после встречи, кто-то уже заорал: "Стряслось бы что с твоей мордой, мы бы всю афганщину разнесли". Синцов кивал головой. Ра-

достный, он отвечал на вопросы, не задумываясь, будто все было в нем записано. Жратва — дерьмо. Старшина — сволочь. Комвзвода парень ничего, но умудрился получать регулярно водяру, — то ли из дома, то ли откуда-то еще, — и лакал ее в одиночку. В военторгах в Кабуле она бывает для офицеров, но ее раскупают быстрее, чем под Харьковом. А афганцы... Что афганцы? Не ленятся они, стреляют в спину. Душманы как душманы. Синцов повторил это слово несколько раз, словно что-то подчеркивал. И вышло. Если душманы, значит, все ясно. Наташе даже захотелось большего, и она сказала: "Фашисты они, фашисты. Наших убивают".

Синцов отмахнулся, ну, пусть фашисты, и начал долго рассказывать о старшине Звонникове, спекулянте. Вот бы кому пулю! Он даже валенки наши кому-то умудрялся загонять. Что? Бои. Какие бои? Нет, мне, нам в Кабуле и так хватает. Вот за неделю до отпуска мой кирюха Криков, на Шевченко жил, в рай полетел. А радовался, что шоферюгой устроился. И то правда, рубон нашему не чета, нет тебе караулов, да и от офицеров что-то перепадает. Только не то вышло.

Так Синцов и жил припеваючи первые дни отпуска, пока не дернула его нелегкая открыть душу, да не только друзьям, но и себе.

"Двоим из моего отделения оставался месяц до дембеля. Решили отметить. Водки не было, да одеколон весь давно вылакали. Оставалась анаша.

В Афганистане эта трава зверская, после одного косяка на дерево без рук и без ног можно залезть. А мы шибанули по три косяка. Добавили чефиром, чтоб сердце билось, как от подвига. У кого-то было пять пачек, так что чаю не жалели. К ночи все были готовы... И тут Петька или Мишка — дембеля, в

общем, предложили пойти в Кабул на афганок посмотреть, себя показать...”

”Странно ты как-то говоришь, Синик, голос у тебя непонятный. Как юродствуешь. Болит у тебя что? Может, после расскажешь. Да ну, давай лучше выпьем”. ”Во-во, мы и водяры тогда захотели, не по-русски это план курить, анашу эту самую, да чайной гущей запивать. Что? Хочешь слушать или не хочешь? Ну так глохни. Значит, пошли мы. Ночи афганские, они темные, но до города было две улицы пройти. Везде комендантский час, нужно и на своих не напороться. Они иногда сначала палят, а после только спрашивают, кто ты, да откуда. Но их тоже понимать надо, режут их, подстреливают. Но мы проскочили. Нас было семеро. Помнишь ”Великолепную семерку”? Вылезли мы из лагеря, выстроились, автоматы, как положено, и — вперед. Помню, два раза прятались от танков, бегают они, звереют прожекторами. А для танка поймать пехоту и отволочь в штаб — одно удовольствие. Мы проскочили, пошарили, но нужной витрины так и не нашли. Снова начали шабить косяк за косяком, до полного балдежа накурились. Так и шлялись по Кабулу, пока Мишка, завидев в какой-то хате свет, не заорал, что там девки нас ждут, девки и водка. Хотя, какая же водка... мусульмане настоящие ее вообще не принимают, это знать надо. В Коране написано, что в каждой капле спиртного живет дьявол. Что-то в этом роде. Но мы влезли, все-таки, в ту хату и действительно нашли девок. Стали они сразу орать, будто их режут. Крики эти на нас и действовали. Хотели мы, чтобы они просто замолчали, хотели только поговорить, я так думаю. Мы их просили, но они по-русски говорить

еще не научились, ну, дернули их за руку, потом схватили за плечи, приказали... а потом и пошло, стали их держать, да одежду рвать. Когда афганцы прибежали, кончили все, а Петька стоял, бил себя в грудь и хохотал. Ему и разmozжили афганской странной штукой голову. Мишка стал первым стрелять, два рожка израсходовал. Он застрелил бабку и четырех мужиков, должно быть, отца и братьев. А я, когда понял, куда стреляю, было уже поздно. Увидел, что все тридцать, весь рожок в двух девок засадил... Только я ли был, я ли стрелял, я ли на-сильничал? Как будто я, но как бы и не я. Ну, Бог знает. В общем, успели мы спокойно удрать да Петьку утащить. После устроили у лагеря театр, дали несколько одиночных выстрелов, начали ма-зать во все стороны из АК. Вышел бой, нападение. И Петька вот погиб, значит, смертью храбрых. Вот и вся хохма”.

Синцов без надежды, но спокойно улыбнулся. Спросил у молчавшей рядом с ним Клавдии: ”Ну, что будешь делать со мной?”

”Пить”, — ответила она.

ГЯУР НА ТРАКТОРЕ

От части до кишлака было всего 3 км с гаком, а ребятам он казался тылом противника. Кишлач-ная малышня иногда подходила к воротам, всегда по утопанной дороге, колдобистой, но безминной. Четверо или шестеро (кто разберет сколько, когда одни клочья остаются) подорвались и научили дру-

гих уму-разуму, чтобы те не подходили к советской воинской части сбоку, не шли на проволоку. Было, в общем, жалко афганской малышни, но минные поля необходимы. Война не шутка. Лейтенант... его фамилию в части уже забыли, то ли Павленков, то ли Крапленков, полез в прошлом году на родное минное поле и потерял башку. Всех разбудил за три часа до подъема (это все запомнили), заставили ждать до рассвета нападения афганцев. Говорили после, что не выдержали нервы у лейтенанта, вот и решил он покончить с собой. Как бы не так! Кончают самоубийством в тылу, от скуки и тоски. Со всем иным на фронте. Когда боишься смерти, есть надежда, что она минует тебя. Напился офицерик, литр водки, наверное, выжрал, и пошел бродить по части без фонарика, и добродился. Замполит или парторг, конечно, накатали его папе с мамой, что, мол, погиб их сын смертью храбрых, выполняя свой интернациональный долг. Или того проще: при исполнении служебных обязанностей. Хотя не должны так писать во время войны. И пахать землю, да еще чужую, солдаты тоже не должны во время войны. Так прямо заявил секретарю партбюро подразделения Василевскому сержант Люблин. Василевский ответил: "Надо, Люблин, надо. Ты же тракторист".

"А что, таиш лейтенант, трактористы что, жить не хотят? В прошлом году послали же отделение ремонтировать школу для этих чукчей, пустой дом, который за дувалом. Набрали маляров, белили, красили, штукатурили. Стены этого, как вы сами сказали, бывшего байского дома толстые, окна узкие. А все равно троих ребят кончили, а дом взорвали, до сих пор афганцы смеются. А вы хоти-

те, чтобы я на поле вышел, открытое поле, чтоб пахал я, трактор этим макакам показывал...”

Василевский вспыхнул и заорал: “Ты, сержант, говори да не заговаривайся. Ты афганцев макаками не называй, расизм тут не показывай”. Сержант Люблин сам рассвирепел и ляпнул: “Это не я расист, а афганцы. Это они нас называют гяурами и в нас стреляют. А мне они до лампочки. А в открытом поле стоять — спасибочки. Кишлак ихний под горой стоит, от нее до поля километр будет. А Климова — ромашки, козел, пошел собирать — они все же подстрелили. Не пойду я туда. Не имеете права меня туда посылать. Танк дайте, а не трактор. Пущай афганец сядет за рычаги, какой-нибудь наш афганец”.

Капитан Василевский сам не был от всего этого в восторге, ему была противна вся эта комедия с трактором. Сказали, небось, в штабе дивизии, что надо показать пример сотрудничества с местным населением, заодно показать трактор, мирную мощь СССР. А что могут люди погибнуть, о том и речи не было. А чтобы своего афганца послать, тут ничего не выйдет. Попробуй найди такого афганца, да еще живого. Был в этом чертовом кишлаке секретарь партячейки, Мамат какой-то. Так его убили и “джип” угнали, американский, хорошего качества. Двух других застрелили у запруды. В кишлаке после этого был праздник. Качали, конечно, головами, а, может, не качали, а кивали, говорили, что, увы, уважаемые советские солдаты, делать больше нечего, нету более представителей новой власти, будем пока без нее жить. И пахать поля вокруг кишлака отказались. Сказали, что народ не против кооператива, только убьют на поле. Лучше быть

голодным и живым, чем мертвым. На деле, жители уходили в горы, обрабатывали там клочки земли, сеяли и собирали потом урожай — неподконтрольный, ихний. Афганцы его прятали, зарывали и притворялись после голодными, а сами (в штабе дивизии это знали) вполне могли существовать, даже отдавали часть горного урожая своим родичам-бандитам. Когда будут доказательства, сказал парторг полка, тогда не будет больше ни басмачей, ни их домов, кишлак понесет достойное наказание, то есть будет уничтожен. Хотя, добавил парторг, нельзя же все-таки стереть с лица земли все кишлаки, а следовало бы, иначе не будет нам покоя. А пока надо вспахать это вшивое кооперативное поле да еще трактором, чтобы увидели они разницу между ним и деревянной сохой на волах, чтобы поняли раз и навсегда, что хоть и силой, а цивилизацию им несем. Присутствующий начальник политотдела дивизии в знак согласия кивнул головой. Что же оставалось капитану Василевскому делать — только выполнять приказ. Но, решил он, надо обеспечить трактору охрану. Он понимал, конечно, отказ сержанта — какая тут охрана, если афганский снайпер может снять тебя, как тетерева. И все же: приказ есть приказ. Приказы не обсуждаются, а выполняются.

И сказал капитан Василевский сержанту Люблину: "Гяур или не гяур, а на тракторе тебе надо быть и вспахать этот проклятый участок. Вспашешь, будет тебе отпуск, двухнедельный и без дороги. Будешь дома месяц. Даю слово. Откажешься, все равно под трибунал попадешь, не за это, так за другое. Пошлют тебя на передовую, в горы. Сам знаешь, что это значит. Это тебе не дисбат, как в мирное время, а самый что ни есть штрафбат. Да ты не

бойся, все поле будет оцеплено, все стволы наведены на кишлак и горы. Не осмелятся они. Подумай и согласись. Не хочу тебе приказывать, ты должен добровольно”.

На следующий день утром дали сержанту Люблину для смелости стакан водки и подвели к старому колесному трактору. Просили ребята разрешения хотя бы приварить к кабине стальные листы. Отказали, не должны, дескать, басмачи-афганцы думать, что боится их советская армия. При этом капитан Василевский дал намеками понять, что он сам себе противен. Тяжестью на его совести лежали души людей, погибших во время ремонта усадьбы-школы. Василевский, выпив, не скрывал своих чувств. Он знал, что афганские дети все равно не пошли бы в эту школу, ходили бы себе к старикам и муллам за учебой. Отдать дурной приказ дело нехитрое. Сидит себе сволочь-полковник в штабе, настоящем доте, и творит на бумаге всякую кровавую глупость, от которой после душа болит. Василевский иногда показывал фотографию сына, которому недавно исполнилось шестнадцать лет. Он часто жалел, что был назначен секретарем партбюро. Ходил бы себе в боевых офицерах, все же меньше ответственности.

На концах поля стали бронетранспортеры, в свежевырытых окопах засели три отделения, в оружийных — установили гаубицы. Мотор трактора плаксиво завыл. Люблин попросил и получил еще водки. Тронулся. Он работал весь день до ночи. Поле было вспахано, и сержант Люблин остался жив. Ни один выстрел не нарушил работы. Жители кишлака спокойно наблюдали. Капитан Василевский был в восторге, а сержант Люблин себя время

от времени любовно общупывал, словно проверял, нет ли все-таки в нем пулевой дырки. Он был наполовину еще на поле и наполовину уже в отпуску.

Двое суток спустя, безлунной ночью, в ливень афганцы атаковали часть. Полночи длился минометный обстрел. В палатку капитана Василевского угодила прямым попаданием мина. Его жалели, не очень, но все же жалели. Наутро убедились, что кишлак обезлюдел. Но больше всего пострадал сержант Люблин. Он так и не получил отпуска.

САПЕР ТОНКИН

Лейтенант Андрей Тонкин часто выходил на берег, туда, где встречались Цильма и Тобыш, глядел на большую воду, выпивал бутылку водки, не пьянел и возвращался в деревню. Города Тонкин не любил, хотя всегда к нему стремился. В Трусове за два месяца был всего раза три, тратил деньги и силы, хвастался своей долго не заживающей раной. Смеялся: "Осколок был ржавый, кровь в спине попачкал, но доказал все же, что может, может сапер ошибаться дважды. Ждет меня за горами на дороге другая, голубушка-стерва пригреет". Некоторые женщины жалели Андрея, а он, пользуясь этим, перед разлукой или вечным расставаньем показывал свою начитанность. Когда-то, сначала курсанту, а затем лейтенанту Тонкину казалось, что сапера все должны любить, в особенности бабы. Ну, как не страдать по человеку, ходящему рядышком со смертью. Люди же на него смотрели, как на дура-

ка. Отец прямо сказал самым своим тяжелым голосом: "Значит, мы с матерью тебя растили, чтоб ты на дурацкой mine подорвался, так, что ли?" Мать воскликнула в слезах: "А рос ведь нормальным парнем". Ленке с птицефермы Андрей сказал, что голубушка-стерва его ждет и пригреет. Ленка спросила, кто это и где она живет. Ответил Андрей: "Живет она под Кабулом, Гератом, Кандагаром. Зовут ее Мина, горячее в любви не бывает". "Дурак ты, ох, дурак", — сказала Ленка, а после, ночью, залезла к нему в комнату через окно. Утром заплакала, то ли по себе, то ли по нему: "Тебя под утро кошмары били, аж кричал".

Лейтенант Тонкин хотел не жалости, а восхищения. Но и в Трусове, подле интеллигентных женщин, его не нашел. Ловил иногда в женском взгляде нежность, но была она предназначена не ему, а труппе лейтенанта Тонкина. Было обидно. Деньги-то на ресторан тратил живой Тонкин. Утром, одеваясь и опохмеляясь, лейтенант рассказывал: "Не было ничего прекраснее Герата. Но до сих пор высится грозно и непоколебимо крепость Калаи Ихтиярэддина, кое-что осталось от двухсот мечетей древнейшего города Афганистана. Даже Александру Македонскому не удалось его покорить. Каменные кружева и плетения вечны, незабываемы". Только раз, морщась от головной боли и позабыв о выпренности, добавил почти с гордостью: "Полгорода как не бывало. Наша армия — это вам не Александр Македонский!"

Чего люди в сущности не понимали, так это того, что лейтенант Тонкин любил свою работу сапера. Однажды его друг по училищу Винцов спросил во время запоя под Шиндандом: "Был бы ты афган-

цем, был бы ты с нами или против нас?" Тонкин ответил: "Был бы сапером". Ему было плевать, что взлетали к небесам люди и танки. Он знал, что мин на его век хватит, что будет еще много мгновений, когда живущая под его руками смерть уплотняет жизнь до ощущения восторга бессмертия. Во время работы он верил в Бога, говорил с ним, врал ему. Все вокруг истекало кровью, гноем. Тонкин видел парней, пытавшихся перед смертью удержать вываливающиеся кишки; других, спокойно проклинающих, глядя на свои оторванные ноги, и войну, и власть; третьих, объясняющих, умирая, как любят ту, которая пишет или не пишет писем. Как будто очевидная для всех бессмысленность войны Тонкина не касалась. Он никогда ни на кого не доносил, а когда капитан Ращенко, узнав, что от его сына остался живой обрубок, закричал: "Не хочу, понимаешь, не хочу этой власти!", Тонкин даже постарался никого не допускать к капитану до возвращения к нему неискренности. Тонкина слегка удивило, что Ращенко против партии и правительства, только и всего. Но он никому не повторил слов. Их хватило бы на двадцать расстрелов.

Тонкин никому никогда не хотел зла. И теперь, возвращаясь с берега домой, он думал, в общем, о хорошей жизни. Только грустно было от того, что люди его не понимают, смеются над ним и его работой. И еще — он скучал по своему псу по кличке Общежитие. Миноискатель вещь ненадежная, он все равно будет молчать, если мина пластмассовая. А Общежитие все чувствует, оправдывает свою кличку. Родной щуп нужен. Без своего барбоса давно был бы Тонкин в аду. Сядет Общежитие на будто бы утоптанную афганскую землишку, поднимет морду и

посмотрит преданно в глаза хозяину. Щуп ведь только разрыхленную почву "почуять" может. А Общежитие будто видит притаившуюся под землей смерть. Воткнешь предупреждающую указку и скажешь властно остальному человечеству: "В укрытие". И остаешься один на один с миной. Пальцы делают ямку, оставляя углубления по краям. И вот показалась голубушка, разговариваешь с ней, а мина словно ухмыляется. Предпоследней была "ТС-6, 1". Зацепил ее ласково "кошкой", отошел, выдернул из ямки. Оставалось, как всегда, подойти и вывернуть взрыватель, милый такой штырек, красивый даже. В последний раз дернул за шнур "кошки" слишком нервно, да и раньше времени. Взрыв в глазах был серым, а не огненно-желтым.

Вспомнил Тонкин свою неудачу, и заныла спина. Трудно саперу в Афганистане. Ему, лейтенанту, скоро старшему лейтенанту Тонкину, надо будет возвращаться. Мать считает дни. Она знает, что, когда сын перестанет пить, когда начнет посматривать на свои пальцы по-особенному, тогда останутся считанные сутки. Она еще раньше кричала сыну: "Что тебе там делать, в этом Афганистане? Зачем нам эта страна? Чтобы похоронку получить? Пусть твое начальство туда едет. Не нужен нам Афганистан, никому не нужен". Сын, отвечая, усмехнулся: "Афганцам он, мама, наверное, нужен, иначе мины не зарывали бы, не ждали бы нас иначе фугасы. Каждый день дохнут там ребята, когда десятками, когда сотнями. А делать нечего, надо работать. Да и ничего со мной не будет, скоро война кончится. Прикончим душманов — и все". Матери ясно было, что сын врет. И как-то, когда свекровь приступила по обычаю к вечерней молитве, она впер-

вые подошла и тихо опустилась рядом с ней на колени. А старик-Тонкин больше не хвалился сыном, будто боялся, несмотря на большой партийный стаж, накликать беду. Он продолжал каждый день читать "Правду" от корки до корки, но не вслух. Однажды увидел сына, глядевшего жадно на яблоно во дворе и на кусок неба, не выдержал и спросил почти жалобно: "Что, сынок, что с тобой, о чем ты?" Ответил Тонкин отцу спокойно: "Приеду еще на побывку — женюсь, дитя оставляю. Как думаешь?" Отец только и смог, что кивнуть. А через неделю после отбытия сапера Тонкина, старик подслушал разговор соседей. "Что там у Тонкиных?" "Что? Афганистан у них поселился, вот что".

КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА

"Блядское солнце!" Зубов смял в руках шлем, но побоялся дотронуться до своего раскаленного комбинезона. Сидевший рядом с ним ефрейтор Мурзинов, по кличке Мурза, вдруг звонко заорал: "Гвардеец-десантник, береги посевы, насаждения!" Кто-то хмыкнул. Единственное растение, увиденное после высадки, был зеленый лоскуток на пруте, укрепленном в основании камнями. Капитан Терентьев сказал: "Душмана зарыли". Зубов тогда только усмехнулся. Это была его шестая операция за год, и он знал, что похоронен здесь наверняка обыкновенный путник-мусульманин. Но Зубов понимал Терентьева: большинство ребят подразделения было салагами. Их в горном учебном центре учили повышать устойчивость организма к кислородному

голоданию, отрабатывать передвижение по тросу, спуск по канату, лазание по карнизу, наклонной и вертикальной стенкам, обучали преодолевать местность по выступающим камням. И никто не учил их глотать пули, приходящие неизвестно откуда, и подышать от страха.

Приказ десанникам был простой: высадиться, подойти ночью, через заносы и осыпи, до важного узла штаба душманов и ликвидировать его. За хорошего "языка" обещали отпуск и, разумеется, медаль. Мастер спорта по офицерскому многоборью Терентьев хлопал по плечу вертолетчика, называл его для общего смеха воздушной фанерой. Высадились нормально и вовремя дошли до позиции противника, но о нем уже не думали. Гололед и снег похуже льда отнимали все воображение. Душманский штаб был безнадежно пуст, но мины были живее живых, на одной из них и полетел салага вместе с ракетой. Миноискатели ничего не искали, видимо, мины были умнее. Ждали вертолета до первых душманских пуль. Самое неприятное, сказал Зубов, это когда тебе пробивают легкое, тогда в этом говне вообще нечем дышать. Поволокли трех раненых, — они катились быстрее здоровых. Рядом был перевал Замистан. К ночи людей осталось с дюжину. Самым отвратительным было то, что афганцы почти не скрывались. Можно было видеть в бинокль, как они скалились и словно с весельем глядели на недолетающие до них пули. Сами же прицеливались и убивали. Стояли как на параде, вызывая беспомощную ненависть. Прапорщик Щупляк, парень с пулевой царапиной на лбу, сказал: "Они стволы наваривают один на другой. Вот и летит далеко... Давай-давай, кто живой".

Люди уже плохо владели собой. Кто хрипло хохотал, кто беспрестанно матерился, кто тупо молчал. Никого не удивило простодушное заверение: "Не правда все это, что вокруг. Мы скоро, ребята, проснемся".

К ночи нашли скальную нишу. Терентьев спрятал ракетницу, все равно теперь до утра помощи не жди. Как только ушел из Афганистана свет, на людей набросился мороз. Вспыхнувший сухой спирт отгонял животный ужас. Мысль о пуле, гранате, mine становилась рабочей; кружка крутого кипятка в руках давала веру в завтрашний день, плотная темнота делала смерть чужой, афганца далеким, снег не таким отвратительно белым. Люди вновь становились людьми. Этого и опасался капитан Терентьев. Он вытащил бутылку спирта, но его опередил голос: "Что, капитан, посмотри, сколько нас осталось... Ты..." Терентьев перебил солдата: "Хорошо еще, что нас всех не ухлопали. Кто-то донес, ребята, кто-то настучал, кто-то предупредил гадов. Они нас ждали. Приказ был набрать живых афганцев. Сами знаете, если прыгнули бы перед самым штабом, вернулись бы пустыми. Идет же война, а на войне убивают, не маленькие. Но мы ведь еще живы, живы, ребятки, наша еще не пропала. Завтра начнут нас искать. Натя, но только по глотку". "Ты нам, капитан, зубы не заговаривай. Ты за все отвечаешь. Мы афганцам войны не объявляли, ты тоже. Мы не хотим здесь подыхать. Меня, может, мамаша ждет. Это ты виноват. Нужно было окопаться у штаба и там ждать наших. Это ты нас на смерть повел. А если мы за это..."

Терентьев понял, что нужно менять тактику, не дать надежде стать сильнее страха, дисциплины;

а затем психологически помешать солдатам его застрелить. А заодно и правду можно сказать, дорого это не стоит. "А если я тебя вот щас застрелю, а? Знаешь, что тебе полагается за это, а? Думаешь, трибунал тебя приголубит. На, глотни, приказываю. Скажу вам честно, шансов у нас маловато. Или утром нас найдут... или нам всем конец. В плен сдаваться никому не советую, сами знаете, что они с пленными делают. И еще вам скажу, раз уж положение такое: я сам не знаю, что мы в этой стране делаем. Я русский офицер, вы русские солдаты. Нам дали приказ, мы его выполняем. Ну что, что, скажите, мы еще можем сделать? Ничего. Выполнить приказ есть единственный шанс остаться в живых. Не как офицер, как друг вам это говорю. А-а-а, прошел спиртенок. Да ты закусьвай, закусьвай, жалко ребята, пива нет запить. Да и то, тут горячее пиво бы нужно".

Капитан с удовлетворением увидел первые улыбки. Сухого спирта должно хватить еще на несколько часов. Главное, подумал он, чтобы они снова не захотели справедливости. Нужно их заставлять время от времени просьпаться, заглотив кружку кипятку, и делать все это без нервов, будто мы на учениях. Хватит ли у меня сил? И на кого могу положиться? И не подползут ли к нам все-таки афганцы? Нет, по этим горам никто ночью не ходит, даже они. Да, ему, капитану Терентьеву, до боли хотелось спасти вверенных ему людей, этих пацанов, брошенных в ад, ледяной по ночам, раскаленный и ослепляющий днем. Даже ему было трудно, опытному офицеру, в этих Богом проклятых горах. Но что мог сделать он, мастер спорта, против людей, не знающих ничего другого, кроме

родных им гор. Действительно, сдалась нам эта страна. Ведь ничего не защищаем тут своего. Действительно, глупо погибать за все это. Да, прав был старик Сафронов, когда сказал: "Ты, Терентьев, хороший офицер, только вся беда в том, что ты не хочешь стать генералом". Я ему тогда не поверил. На кого же можно положиться? Зубов! Рядовой Зубов. Он так и не захотел стать сержантом, несмотря на опыт и хладнокровие. Не могу же я им политдолбежку устроить, сам бы такого застрелил. А Зубов сможет подбодрить спокойным голосом. Рискну".

"Зубов, ты, кажется, родом из Никополя. Как там у тебя, девки красивые?" Все посмотрели с недоверчивостью на Зубова, секунду до того мечтающего о своем не так давно раскаленном комбинезоне, теперь ледяном под маскхалатом. Он перестал вычислять, сколько понадобится морозу времени, чтобы пробить комбинезон, свитер, две байковые рубахи и добраться до остывающего тела. Он понял, чего от него ждет капитан, сволота милитаристская, как любил повторять Зубов, и увидел, понял, что никто не верит в любые красивые слова. Он подумал о Саше Кулешове, друге, лежащем теперь в нескольких километрах с продырявленной душой, и впервые за эти сутки почувствовал жгучую ко всему ненависть. Они поменялись с Кулешовым прощальными письмами к родным. Мол, если что случится, так пошлешь, объяснишь, что пал, вот, глупой смертью героя. И никто ведь не верил, что такое может произойти.

"Да, из Никополя я. — Сказал как плюнул.—Что там? Война там". Все ошеломленно переглянулись.

"Да не рехнулся я, не рехнулся. Рыбачить люблю

с детства. Еду я, значит, в Запорожье, топаю на Рога-Банк, автовокзал значит. И прибываю в Камышеваху. Там Днепр впадает в Каховское море. Там же Речище — где Днепр распадается на расходы, а расходы на протоки. И деревья там огромные стоят в воде. И война идет — за рыбу. В мае нерест, щука, рыба единичная, хищник, но бывает до двух метров. Зимой ловят сетями под плотинами. А так промысловая идет, густырь, козлик, так у нас называют леща, краснопера, тарань...”

У всех разгорелись глаза и вытянулись лица. Они, оставшиеся пока живыми, позабыли о безысходности, о глупости мира, о жалости к себе. Всем захотелось есть, словно вся красота воображения ушла в сосущий желудок. Стали вытаскивать НЗ, вспарывать консервные банки, жевать сухари. Все позабыли о будущем.

”... Деньги идут огромные, до полтонны умный может набрать. А кто еще хитрее, тот тарань на продажу готовит — и миллионером кончает житуху, если, конечно, не с жаканом между глаз. У нас на островах ханыги живут, что наберут, то сразу и пропьют. Ходят, алкаши, на промысел злые и вооруженные. Сначала убьют, а уж после здрасте скажут. И браконьеры трезвые тоже меж собой воюют, за место, за рынок. Рыбинспекция тоже воюет. Иногда стрельба идет, вам и не снилось...”

Хохот перебил Зубова, поднялся над нишей. ”Вот это война!” ”Рай, ребята, суцая лафа! Представляйте, рискнуть за тыщу рублей!” ”Все, еду после дембеля к тебе в Никополь!” Капитан Терентьев тихонько достал вторую бутылку. Прислушался, подумал об афганцах, услышавших где-то здесь, рядом, уродливый, неестественный от искренности

смех ребят, которым дышать-то осталось, наверное, несколько часов. И содрогнулся капитан: "Как все глупо, как все глупо и отвратительно".

Зубов втянул в себя спирт, удивился с наслаждением своему спокойствию. В нем была, он в этом убедился только сейчас, с самого начала странная уверенность в своей бессмертии в Афганистане. "Нет, не пустят тебя, Колька, на Речище. Ты до рыбы даже не дойдешь, разве что со своей швейной машинкой да с парочкой противотанковых. Местные сразу распознают Рога, так у нас называют всех чужих. Можешь попасть под перекрестный огонь рыбинспекции и браконьеров. Раньше тихо было, инспекция особенно не лезла. А начальство взяло и набрало в рыбинспекцию самых зверских браконьеров, а им человека убить — что плюнуть. Все началось после краснюка, когда заводы Днепр отравили. Теперь рыбу отправляют в начальственных вагонах в Москву. И цены, само собой, подскочили до опупения. Вот кровью рыбу и поливают. Каждый год поднимают десятки продырявленных лодок с продырявленными бывшими людьми. Во!"

Вздохнули люди, повторили: "Во-о-о! Как хорошо. Сказка, а не война".

Ефрейтор Мурзинов первым ткнулся в ледяную корку ниши, пробормотал что-то об отпуске и уснул. На рассвете он, согреваясь спрсона, высунулся поглядеть вокруг и упал с простреленной головой.

Солнце делало снег ослепительным. "Обманули Мурзу карты, не будет у него девятерых детей".

Терентьев закричал: "Хватит. Не смотрите на него. Ты полезай наверх, пали да не высовывайся.

Захвати побольше рожков. Открывайте огонь без паники, иначе нам всем хана”.

За полчаса до вертолетного шума в капитана ударила рикошетом пуля. И Зубов спросил его, скалась: ”Ты любишь рыбу, капитан?”

ТРОФЕЙЩИК

Ефрейтор Степан Фильдин любил улыбаться. Только, как подумалось капитану Ельникову, улыбался этот ефрейтор как раз в такие минуты, когда человеку обычно совсем не хочется улыбаться. Ельников заметил, что Фильдин искренне наслаждался, когда его руки держали оружие. В Афганистане подобное отношение, особенно со стороны срочников, было по меньшей мере странным. Для солдат автомат или пулемет были необходимым проклятьем, непомерной тяжестью, от которой зависела жизнь и смерть. Уже через несколько часов лазания по горам АКМ кажется многопудовым. А этот малый продолжал и на привалах гладить автомат, как девушку, чистил, смазывал, драил.

”Смотри, дырку протрешь, чем тогда афганцев будешь кончать?”

Фильдин на шутку капитана отвечал хохотом. Салаги, как и Фильдин, бывшие в десанниках всего четыре месяца и не успевшие еще получить настоящее крещение, поглядывали на него как на психа. Все уже мечтали остаться в живых и со всеми руками и ногами вернуться домой. Никто так и не увидел китайцев или американцев, да и вооб-

ще, никаких империалистов не было и в помине в этом проклятом Афганистане. Вначале некоторые ребята даже обиделись: что же, значит, обманули нас. Но вместе с обидой пришло и полусознательное удовлетворение: раз нет китайцев и американцев, значит и войны нет, а всякие там банды душманов-басмачей—это чепуха, это не очень серьезно, раз их мало и они плохо вооружены. Но уже через месяц все поняли, что душманами надо в принципе называть всех афганцев, что, кстати, капитан и делал. Официально боролись против контрреволюционеров, но как только выходили на задание, то начинали драться с афганцами вообще, с теми, кто стреляет и кто не стреляет. Против всех возрастов и полов. И уже думалось, а не лучше ли было бы воевать с китайцами и американцами, чем с целым народом. Был бы тогда хоть тыл, был бы ясный, понятный враг. А так получается, что надо всех афганцев в Афганистане уничтожить. Но, в общем, хотелось прежде всего бросить проклятый АКМ в кусты и поехать домой, к маме, лучше которой нет ничего на свете. А тут держит этот дурила свою пушку и радуется.

Капитан Ельников сначала даже опасался чего-то в этом парне из Ленинграда. Но в первом же бою, когда десантная группа Ельникова, составленная в большинстве своем из салаг, попала в горах под прицельный огонь афганцев, капитан многое понял. Доставивший их на место вертолет был уже далеко, когда защелкали афганские карабины и стали падать салаги. Установить миномет никто не смог, метавшиеся в страхе ребята гибли один за другим. Афганцы стреляли сверху, из-за удобных скал и, скалились, наверное, зная, что автомат их не доста-

нет. Даром шли наверх автоматные очереди. Только у капитана был снайперский карабин с оптическим прицелом, но у него от страха и бешенства так дрожали руки, что и он не мог ничего сделать. Царапал афганский камень и матерился. Вдруг он почувствовал, что у него отнимают карабин, и прежде чем подумать о плене и смерти, капитан увидел Фильдина. Ефрейтор лег поудобнее и со спокойной страстью стал вести огонь. Ельников смотрел на Фильдина с восхищением. Ему подумалось: "Он же, он же... он же профессионал. Как же так?"

Когда прилетел вертолет, афганцы уже ушли или спрятались, а группа капитана Ельникова потеряла отделение убитыми и еще человек пять ранеными. Зато Фильдин так снял четырех афганцев, что те даже не смогли унести свои — побоялись. Все еще лежа, капитан сказал Фильдину: "Молодец. Всех спас. К награде тебя".

Тот рассмеялся всем раскрасневшимся лицом: "Нет, товарищ капитан. Ваш карабин, ваша и добыча. Она вам нужнее". И Ельников понял, что если Фильдин и был сумасшедшим, то вовсе не был дураком. Было ясно, что парень любил войну и, вероятно, в нем вместе с любовью к оружию была и страсть к убийству. И для того, чтобы воевать, Фильдину нужны были не награды, а боевой офицер в орденах, который даст ему по блату возможность как можно больше воевать.

Он обнял Фильдина и мягко забрал у него свой карабин. Вечером, по возвращении на базу в Ферах, Ельников вызвал в свою палатку ефрейтора Фильдина. Достал мясные консервы, белый хлеб, водку, огурцы. Выпили. Капитан спросил: "Как тебе мой карабин? И ты мне тыкай, когда без свидетелей."

Ты Степан, а я Олег. Понял?" "Понял. Винт у тебя знатный, только чуть косит, но это я поправлю".

После первой бутылки капитан достал вторую, цепко посмотрел в глаза ефрейтору и спросил: "Слушай меня внимательно. Теперь наши судьбы связаны, будешь со мной. Я тебе во всем помогу. А ты мне. Только честно расскажи, откуда ты, кто ты и откуда у тебя такое знание оружия. Все останется между нами. А после еще выпьем и послушаем Высоцкого, вон у меня кассетный магнитофон. Ты знаешь Высоцкого?"

Фильдин покосился жадно на водку: "Кто же его в Питере не знает. А под стопку он хорошо идет. А так — скажу, мне скрывать нечего. Я с детства — трофейщик".

"Что?.."

"Трофейщик. Война вокруг Питера долго шла. Фронт всю блокаду простоял в лесах, на болотах. Бои были затяжными. После, когда война закончилась, много добра осталось, куча оружия. И появилось такое призвание — быть трофейщиком. Я с корешами промышлял на синявинских болотах, а центр добычи был в Апраксино. Там до сих пор сохранились минные поля. Там много стрелкового оружия. И еще, например, хороша станция Мга. Там можно было в хорошие времена добыть калибр за пятерку, что винт, то есть карабин, что скорострел, значит автомат или пулемет. Но работа трудная, либо занимаешься откачкой воды из воронок, либо ходишь со щупом, с шомполом на палке, тыкаешь, ищешь, находишь. Если попало оружие в глину или песок, как новое добывается и промышляется. Так что я с детства приучен ходить по минным по-

лям, оружие держать, группы откапывать. Мы черепа развешивали на деревьях и стреляли по ним, а раз оделись эсэсовцами, человек десять, и прошлись вечером по поселку. Там долго говорили—кто о групповой галлюцинации, кто о призраках убитых немцев. Трофейщик должен был найти оружие, проверить его, подчинить, смазать и спрятать. Он в принципе никогда не гуляет с оружием, даже по лесу. Но стрелять, тут уж я за эти годы настроился, и смерть всяческую видел, старую и новую. Не так уж мало ребят подрывалось и подстреливалось. Главное, к этой опасности привыкаешь, живя вот так с ней рядом из года в год. У меня даже остался в одном тайнике МГ-42, лучший в мире пулемет. Им можно кусты подстригать. И деньги у меня от торговли запрятаны. Много могу, капитан, тебе рассказать, расскажу как-нибудь. А так, вот, знаешь теперь, что и как, откуда я и чем живу. Мне бы мой МГ-42 сюда, вот тогда я бы тебе показал, что такое настоящая стрельба. Но и с хорошим карабином повоевать можно”.

Ельников смотрел изумленно на ефрейтора. ”Эх, — думал он, — широка страна моя родная, чего только в ней нет. Есть даже вот такие Фильдины. Теперь все понятно”. Капитану было понятно, но он не мог не видеть чего-то страшного в этом парне, чего-то выжженного в нем. Он еще подумал, что как бы его свои же не подстрелили, слишком этот Фильдин какой-то нечеловеческий. Нашел свое счастье в Афганистане. Люди, сопляки, погибают пачками, а он радуется. Ельников налил водку, сказал: ”Знаешь, я тобой восхищаюсь, без балды. Будешь со мною все время”.

Ленинградец хитро согласился.

Эту историю майор Ельников рассказал своей жене, та — своей лучшей подруге.

ЖЕРТВА

У парня было глупое, но отчетливое ощущение приближающейся душевной смерти. Что такое душа, Костя Родников не знал, но в тот час, минуту и секунду, в недостроенной казарме под Газни, где они строили вертолетные ангары, он почувствовал свою душу. Душа в нем кричала, и он ничего не мог с ней поделать.

Рядовой Родников, только два месяца как подстриженный, оказался для стариков стройбата жертвой более сладкой, чем остальные новобранцы. Он был огромного роста и большой физической силы, и вызвал своим появлением в стройбате выдох восхищения. Но достаточно было заглянуть попристальной в его глаза, внимательно рассмотреть его лицо, проследить за его движениями, попробовать рукой его тело, чтобы понять — Родников набит до отказа беспомощной добродушностью. Короче — делай с ним что хошь, не пикнет. Был бы Родников пониже и послабее физически, не производил бы он на работе впечатление подъемного крана, били бы его и унижали гораздо меньше. Но Родников был сильным и вместе с тем бесконечно слабым. Он мог любого в стройбате сломать голыми руками, изуродовать ударом кулака. Но было видно, чувствовалось по-собачьи, что этот тип — кислый-кислый, слабый-слабый. Может он, но и не может.

И били поэтому Родникова сильнее, чем других. Его избили первый раз еще в Ташкенте. Подошел маленький ефрейтор, проверил, есть ли у Родникова часы, и, раздосадованный, стал его с усмешкой бить по печени, приговаривая: "Я тя научу родину любить". Родникову подумалось, что все это недоразумение, что бьют его и других салаг как гражданских, как парней, еще не вошедших в дружную армейскую семью. Отец Родникова часто любил по пьянке вспоминать армию, службу, свои похождения, дружбу. Говорил: "Ничего, Костыка, увидишь, сделают из тебя там человека, будет что вспомнить. Армия — это школа для дураков". В Кабуле Родникова и других все время посылали в наряды, в особенности в самые опасные караулы. Ташкентские старики оказались по сравнению с кабульскими настоящими ангелами. Чем меньше оставалось служить кабульцу, тем больше он ненавидел Афганистан и больше зверел. В основном от желания дожить до дембеля, остаться целым. А так как начальство спокойно напоминало старикам, что уедут они домой только, когда молодежь будет обкатана, то старики и старались. Офицеры закрывали глаза, когда старослужащие, накурившись с самого утра анаши, старались попасть салагам коленом между ног — чтоб быстрее становились в строй, чтоб лучше подшивали свежий подворотничок, чтоб не разговаривали. А уж получить локтем в живот, на это совсем перестали обращать внимание. На посту, ночью, в Родникова стреляли два раза. Он в ответ открывал такую стрельбу, что оба раза был зверски избит стариками. Били тоже ночью. И объяснили почему: "Ты что же, сволочь, хочешь, чтобы офицеры подумало, что вокруг части целые

банды душманов бегают, и нам вместо дембеля показало фигу? Выслуживаешься? В следующий раз изуродуем, но так, чтоб не комиссовали. Понял?" Одновременно Родникова терзал голод. Не тот голод, от которого умирают или заболевают. Родников оставался бугай-бугаем. От армейского голода выли набитые кишки. Родников съедал до бачка сечки в день, опрокидывал в себя непомерное количество сухой картошки, чтобы через час после обеда мечтать страстно об ужине. О завтраке он не мечтал, старики все равно забирали масло, сахар и белый хлеб.

Когда Родникова направили в Газни в стройбат, он искренне надеялся, что ему просто не везло, что просто попадал он к нехорошим людям. Он думал: не могут же все быть мерзавцами, озверелыми сволочами. В стройбате в первую же ночь Родникову устроили темную. На работе пинали, костьляли, оскорбляли. Только один пьяный дембель, сержант из Донецка, сказал ему в пекарне — Родников таскал мешки, а сержант их считал: "Козел ты. Пропадешь. Не вылезти тебе живым отсюда. Выбей, пока не поздно, пару зубов, сверни пару челюстей. И тогда, либо тебя сразу убьют, либо уважать станут, скорее всего станут уважать. И пойми, не люди такие, а таковыми их сделала служба и эта страна. Все хотят вернуться домой и все боятся не вернуться, и никто не понимает после шести месяцев, что же мы тут делаем и за что здесь подыхаем. Смысла нет, а когда его нет, злоба сильнее. Ты думай, голова у тебя большая, но пустая. Думай, пока время еще есть".

Но Родников не мог, боль души была сильнее, и отчаяние росло, ширилось в нем. И ударить чело-

века он не мог, таким уж, наверно, он был создан. Другие приспособлялись. Родников не мог, не смог. Временами ему хотелось не жить, не то, что бы умереть, а — не жить. Что творилось вокруг части, Родников не замечал, земля и ад на ней кончались территорией стройбата. Последней глыбой, упавшей на его голову, оказалось предложение старшины: "Будешь со мной спать, моим будешь. Я не жадный, буду за это тебе печенье давать. А не хочешь — заставлю, все равно изнасилую". Старшина сказал это Родникову утром, а днем он бежал куда глаза глядят.

Часть была уже далеко позади, когда он услышал за спиной вертолет. Родников спрятался в стогу. Потом снял с себя ХБ, остался в трусах и сапогах, и побежал дальше. Он вспомнил, что каждый почти месяц афганцы убивали несколько ребят из стройбата, в основном водителей. Родников осознал, что смерть теперь и позади, и впереди него. Вернуться — убьют свои, идти вперед — убьют афганцы. Он пошел вперед, не топтаться же на месте посреди поля. Родников встретил афганцев на пятый день своих блужданий и бросился от них бежать, не зная, не понимая толком, куда, зачем и почему. Может быть, боялся, что они его выдадут, то ли старшине, то ли другим афганцам. Когда его догнали и повалили, Родников ощутил успокоение. Ему дали афганскую одежду и несколько недель вели по горным тропинкам. В первый же день дали ему арбуз, который он не может до сих пор вспомнить без слез. Вместо пули — арбуз! Не били, не уродовали, не издевались. Он ловил иногда злобные взгляды, на него был всегда направлен автомат, но к этому он быстро привык. Наконец, в одной пещере говорящий по-русски молодой афганец решал, стоит или не стоит расстреливать русского. Он выслушал

терпеливо многословного Родникова, задал несколько вопросов и рассмеялся: "Какой же ты враг. Ты — тоже жертва коммунистов, советской армии. Жертва ты. Живи пока с нами, а там посмотрим. Но на всякий случай будем за тобой присматривать, так положено".

Ему достали Коран по-русски, и Родников в течение шести месяцев, столкнувшись впервые в жизни с религией, читал его. И стал советский солдат и русский человек по фамилии Родников не православным, не буддистом, а — мусульманином. Он мечтает вернуться домой, в Красноярск, но считает эту мечту слишком уж красивой. У него две жены-афганки, будут дети. Афганцы смотрят с восхищением на его огромный рост и сами мечтают, чтобы русские были как этот, не убийцами. И они ему говорят: твое будущее, русский, продолжается. Придет время, если захочет Аллах, и ты не будешь больше жертвой.

ПОБЕГ

Стоящий близко от Дадлина ослик был распорот очередью. Жить Дадлину особенно не хотелось, но смерть осла показалась ему столь глупой, что он твердо отказался лечь рядом и вот так, скотиной, уйти в ничто с потрохами наружу. И тут же подумал: "А впрочем"? От пуль и осколков Дадлина защищали валуны, и он без нетерпения подождал Нахорова. Тот на тяжелом бегу выплевывал, казалось, кусочки легких, его пропитанное опиумом

тело неудержимо тянулось к другому существованию. Укрывшись за валун, он заорал сквозь бешенство дыхания: "Два раза не убили! А тебя?"

Зеленоватое лицо Нахорова выражало мучение и радость: он никогда еще не жил днем так сполна, наркотик уводил в необыкновенное только в полусне ночи. Не дождавшись излишнего ответа, он прохрипел: "Ну и дали мы. Вон сколько их, а еще не поймали. Сколько, думаешь, нам осталось?" Рослый Дадлин усмехнулся: "Сколько твой Бог даст". "Опять ты, Серега..." "Ладно. Не время. Они наверху. Скоро стемнеет. Мы с тобой, спускаясь, гляди, по такой крутизне, как-то не сверзились, а они без приказа точно не пойдут. Ты бы полез, если дембель, а не трибунал ждет. А вдруг здесь душманы прячутся? Нет, пока то да се, пока найдут нужное начальство, полчаса пройдет. А мы спустимся, пойдем вдоль той речки. Если окружат плотно, если взбесятся наши командиры и бросят на нас весь народ, ну, тогда пиши пропало. Понял?"

Скелетообразный, жилистый Нахоров рассеянно кивнул и вдруг с изумлением посмотрел на друга: "Знаешь, я голодный. Жрать хочу. Год, наверное, со мной такого не было. Может, мы кусок того ишака отрежем, а после зажарим?"

Дадлин закурил, дождался пуль на дымок — нового страха. "Он всегда новый... Может, может бросить его тут? Один я, кто знает, выкарабкаюсь. Он же мертвый груз, чего, чего я с ним валандаюсь?"

Со времени их бегства с губы Дадлин не раз хотел, изматерив совесть, уйти без особых следов по камням и оставить Нахорова приманкой. Но он только материл Нахорова, а бросить его не мог. Не хотел одиночества в чужой стране. Ублюдок

был с ним, но — свой. Еще месяц тому, прибил бы его без труда. Теперь знакомы, в одной упряжке. Издерганность Нахорова, искареженность его желаний (вон ослитины захотелось) делали парня больным в глазах Дадлина, но не странным. Подсознательное его отвращение к наркоманам питало прямое презрение. Но Дадлин знал с детства: можно убить кошку, не вшивого котенка. Было слишком легко. Нахоров был слишком... 'Паскуда он, вот и все. И с таким подыхать. Нет справедливости'.

"Передохнул. Давай, знаешь родину? Вперед!" Они побежали вниз к речке. Режущие прошли над ними в полутемноте мины. Нахоров упал. И затрясся в руках Дадлина: "Не задело тебя, не задело. Беги, сушь вымя, хош, чтоб они прицелились? Ноги вырву, беги".

У реки их накрыла ночь. Дадлин слышал моторы кругом. 'Облаву устроили, только теперь я уже не охотник'.

"Осторожно, не свались в воду". Река еле шипела на камнях, бормотала на изгибах угрозы. Все было враждебным, даже мягкий воздух осени давал горлу зуд. Тихое отчаяние заволновалось в Дадлине. Спотыкаясь, он вспомнил Бессонова, но не смог пожалеть ни себя, ни его. Без лейтенанта Бессонова многие во взводе Дадлина дожили бы до дембеля. Бессонов не мог нормально служить: он не боялся смерти, но мысль стать инвалидом, подобно отцу, видеть, как жена путается с кем попало в открытую и беспомощно просить ее не уходить из дому — сводила его ум на нет. В своем безумии Бессонов, от страха получить ранение, каждый раз бросался навстречу смерти и тянул за собой остальных. Его афганцы никак не могли убить, но

зато, во время операций, сильно редел личный состав. Пришлось старикам — некоторым оставалось воевать пустяки — лейтенанта проиграть в тюремное очко.

“Эх, сгорел я тогда, четыре показал. Почему не три? Был бы уже дома. Ни разу не повезло, сгорал да сгорал”.

И толкнул Дадлин Бессонова на операции с крутизны, поддел слегка плечом, под одобрительный рев ребят. Лейтенант не стал инвалидом. Не было бы выше в скалах подышающего со скуки кретина-наблюдателя, ходил бы Дадлин героем. Нет, в своем отчете тот даже описал, как после преступления все лезли обнимать и хлопать убийцу по спине и плечам. В штабе приказали ему об этом забыть, но замять дело уже не было возможности.

На губе и увидел Дадлин впервые Нахорова — катался по цементному полу, раздирая себе пальцами грудь, худосочный парнишка. Отпихнув его сапогом, постелив на цемент номера “Фрунзе”, Дадлин уснул тогда с мечтой о несбыточном, о сытой свободе. Ночью мечта наполовину обрела плоть — растолкав соседа, Нахоров сказал: “Ты выпить и пожрать хочешь? Я видел, часовые твои кореша. У меня афгани закопаны в разных местах. Пусть мне машину купит и ханку, тебе что надо, и ему еще останется. После я второй тайник укажу. Как?” “Как знаешь?” “Только часовые могли тебе “Фрунзовки” передать, и вот хлеб у тебя в кармане. Так как?” “А ты кто такой? За опиум посадили? Вижу. На игле сидишь. Сколько дадут?” “Много. Так как?”

Глупо было не согласиться. Не прошло и суток, уже лежал Дадлин сытый и пьяный, да глядел с

усмешкой на Нахорова, радостно вгоняющего себе в вену опиум и восклицаящего: "Я тебе говорил, денга, она все может". "Думаешь, она тебя от вышки спасет. Ни трибунал, ни пули ты не подкупишь, сволочь. Не от кайфа сдохнешь!" Дадлин уже знал, за что парня должен был приголубить трибунал. Нахоров продавал что подворачивалось под руку, вплоть до мисок, ложек и тумбочек, раз ему удалось выкрасть два ящика конфет. Нужны были запасы денег.

Опиум дает избыток фосфора в костях. Без опиума кость орет, требует проклятого фосфора. Наркоман воет от боли, бьет себя камнем по костям, старается внешним страданием заглушить внутреннее.

Страх перед своим телом стал сильнее страха смерти. И стал Нахоров продавать автоматы... пока не накрыли. Дадлин собственными руками убил бы Нахорова — будь он еще в роте. Но здесь, на губе, его заполняла не злоба, а презрение и отвращение. Нахоров привычно их ощутил и ответил с привычной уже грустью: "А, ты уже знаешь. И сразу сволочишь. Ну, бей и ты. Я буду тебя поить и кормить, а ты будешь меня бить. Я согласен. Вот погляди, как меня офицеры отделали. Но я не против, я заслужил. Видит Бог". "Что?" "Бог. Меня ведь к кайфу приучили уже очень, очень давно, на гражданке, я тогда совсем еще пацаном был. Девушка потом меня спасти хотела, любила может, не знаю. Она меня в церковь водила. Тамарой звали, клевая была. Вся измучилась, ну, мучил я ее. Спаси, как будто не спасла, но к Богу привела".

Спина Нахорова была исполосована, из-под

разорванной кожи выглядывало особого белого цвета мясо. Дадлин скривился, ответил серьезно: "Бога нет, это все знают. Не спас он тебя ни тогда, ни теперь". "Нет, он есть. И это все знают".

Спор продлился неделю, до освобождения. Открылась одной ночью дверь, и знакомый Дадлину голос зашептал: "Не могли ты оставить. Пришел приказ отправить ты в Термез, а там только расстрел дают. Беги. Мы только с операции, часть пуста. Начкару устроили морду на две недели санчасти, остальным дали по легкому сотрясению, сами просили, чтоб че не вышло. И дома, вишь, из-за тебя повоевали трошки. Беги, только живьем не попадайся. Просим. А этого надо кончить..."

'Не дал ребятам, уговорил, доказал, что эта гнида может пригодиться, мол, брошу я его в нужном месте. Так и сказал, так думал. Да, где он? Утоп небось'. Дадлин, неожиданно для себя самого, с дружкой позвал: "Топай сюда". "Здесь я, здесь. Пока ханка есть, от тебя не отстану. А наши где?" "Вокруг. Сжимают кольцо. В середке — мы. Что это? Стена. Мы уже в кишлаке". "В каком?" "Салага ты. Мы его кончили года два назад. Особая часть прошлась, живого не оставляла. Ты что, тишины не слышишь?" "Да, даже зверью делать здесь нечего. Хотя, во, слышь, наши шакалы едут. Что делать будем?" "А ничего. Зайдем в дом, посидим да подумаем, как лучше помирать".

В дом все мощнее проникал шум моторов, понаторевший слух Дадлина узнавал БТРы, БМПэшки, БРДМы. Прочесывать начнут утром. Злые ребята ходят, спать им не дают, на ночную операцию погна-ли своих же ловить. Если выйти вот так прямо, за "несон" могут сразу прибить... не мог, гад, бежать

так, чтоб ловили тебя днем, не мог бежать в другом месте, чтоб другие не спали! А что, я бы так и подумал'.

Толстенные стены дома давали уют, и Дадлин вспомнил, как трудно разрушать эти глиняные дома. Пущенный в упор снаряд лишь пробивал пятиметровый слой глины, разрывался бесплодно внутри, иногда подпаливал крышу. Людей он уничтожал, но дом оставался стоять для других басмачей.

Этот дом был целым, гладким был его пол. "Знаешь, жаль, что из него не просто ушли жители". Нахоров весело отозвался: "Их убили мы, теперь наша очередь. Кто меч поднимет..." Дадлин не ощутил злобы, он улыбнулся: "Ты уже нашьрялся? По голосу видно. Шаровая ты все-таки сволочь. Что с тобой, изменником родины, делать? Да как ты успел?"

Голос Нахорова отскакивал от глины вокруг, мечтательные вдохи-выдохи ползли к ногам Дадлина: "Что успел? Нашыряться? Да это быстро, ханку в ложку, подогрел спичками, в машину и в себя. Только мало, приход не тот. Вот настоящий приход — это да, сразу падаешь в отключке. Лежишь, нет тебя, нет тела, один мозг плывет по ничто, по бесконечности. Нет жизни и нет смерти. А глазами можешь, как хочешь, за мыслями своими наблюдать, но можно и не думать, это не хуже. Тело разбивается на атомы, и каждый сам по себе и вместе с тем ты один цельный человек, только свободней свободного... После посмотришь, очнувшись, на реальность, и противно становится до невозможности. Достоешь ханку и машину и бросаешься догонять..."

Слушая, Дадлину захотелось еще раз увидеть мать, такую еще молодую и красивую. Она была директором кинотеатра "Октябрь", и ему в детстве казалось, нет лучшей профессии — он проходил и дружков проводил, даже на "до восемнадцати". Когда Дадлин уходил на сборный пункт, мать обняла: "В армии из тебя сделают человека. Не беспокойся, твоя комната будет ждать тебя". А отец не оторвался от новой семьи, чтобы прийти попрощаться. Или забыл. Он любил забывать: "Твоя мать все помнит, потому мы и развелись. А я ничего не помню, потому улыбаюсь и на рыбалку хожу. И ты многого не забывай, если нормально жить хочешь".

"Знаешь, я больше на мать похож, что решу — то и сделаю. А ты хотел бы увидеть мать еще раз?"

Нахоров хохотнул, ушел в прошлое, заговорил чужим для Дадлина языком: "Старуху? Да, чтобы плюнуть ей в глаза напоследок. Я ей говорил: 'Заплати две тысячи военному, как он просит'. Его дочь, шалава, через отца торгует вольными. 'Дай, что тебе стоит, а на следующий год, вот те крест, на какой хочешь факультет поступлю. Смотри, пошлют меня в Афганистан, убьют там, на твоей совести будет'. А она свое: 'Пойдешь служить. Там из тебя человека сделают. Не будешь в Афганистане, в Новосибирск тебя пошлют, я узнала. Не дам две тысячи'. Она продавщицей в обувном работает. Видишь сам, не послали меня в Афганистан, видишь, сделали из меня человека, видишь, не стал я шаровым. Что я бы хотел? Чтоб прислали ей мою голову".

Дадлин сказал сурово: "Нельзя так про мать говорить. Жаль, не прибил я тебя". "Может, и

жаль. И еще говорила она, что в армии мне Бога из башки выбьют. А ты врешь, не жалеешь ты... Ты знаешь, что мы кореша. Да, нету, все, кончилась ханка. Что я без ханки делать буду?"

Дадлин ловил заметавшуюся в нем мысль. Поймал, когда в дом проникли отблески недалеких фар. "Ханка, говоришь. И шприц, машина, значит, у тебя есть? Помню один фильм... введи мне воздух в вену, не хочу, чтоб свои кончили. Давай!" Нахоров подошел, хлопнул, как это делают в закуской, друга по спине: "А я? Одного хочешь меня оставить? Не выйдет".

Дадлину показалось, уходит из него разум. Мозг словно сжался в пустеющий комочек, тело, лишившись на мгновение воли хозяина, затряслось от страха. Захотелось сесть за стол деда в деревне и съесть шашлык, захотелось к маме и пойти бесплатно в кино. Когда вернулись разум и воля, захотелось ничего не хотеть. "После сам себе сделаешь, ты же специалист". Польщенный Нахоров с самодовольством ответил: "А как же. Давай лапу".

Проникший в кисть воздух прокатился по ней раскаленным железом, каждый его бугорок под кожей разнесся ослепляющей белой болью. Дадлин захрипел: "Куда колешь, падла? Куда колешь?" "Да так приход лучше. Да и, думаешь, легко в этой темноте в вену попасть?" Хихиканье свое Дадлин услышал с тревогой и, чтобы избавиться от новой волны сумасшествия, ударился сильно головой о стену: "Не опиум же, не ханку свою ты мне суешь, а — смерть. Понял?" Нахоров с четверенек плюхнулся на пол, подполз рывком к стене, сел рядом с Дадлиным, сказал по-детски жалобно: "Устал я. Знаешь, уйдем лучше на Запад. Там есть группа

”Чикаго”, такую музыку дает, закачаешься. Дойдем до Пакистана, там же капитализм, достанем билеты до Филадельфии или Парижа. Только я не дойду, сил нет. Знаешь, я выйду к нашим, пока со мной возиться будут, ты уйдешь. Да, так и сделаем, а?”

’Как все нелепо, как нелепо. Ну, куда я теперь от себя денусь? Сволочь я, сволочь. Гнида. Мразь’. Дадлин обнял Нахорова: ”Ладно, в Филадельфию, так в Филадельфию. Звучит хорошо. Ладно. Пошли”.

В шуме моторов прожекторы и фары скользили по стенам кишлака, с трудом пробивали ночь. Они не щупали и не искали, а только слепо подчинялись равнодушной работе людей. Дадлин и Нахоров прошли в пяти метрах от БРДМ, мимо спящих сидя каких-то ребят. Они шли не таясь, лунатиками. Дома сменялись проулками, высокими глиняными заборами. На полпути Нахоров обессилел. Дадлин перекинул его через плечо и пошел дальше — его армия заглушала его шаги, освещала ему путь.

Выйдя из кишлака, Дадлин поудобнее устроил друга у себя на спине и пошел по направлению к Пакистану.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие Георгия Владимова	I
Повестка в армию	5
Третий эшелон	9
Великая дружба	11
Инцидент	14
Рай и ад	15
”Знай своего врага”	18
”Молчи-Молчи”	22
Случай в военном городке	24
Анаша	27
Защитник родины	29
Политинформации	33
Два рассказа	37
Почему?..	40
Присяга	42
До прибытия в часть	46
Смерть старшины	48
Вторжение	51
Парень по фамилии Аккерман	54
В поход за анашой	56
Необычные учения	60
Немного о любви	63
Комсомольское собрание	64
Крест	67
Танки	69
Один капитан	71
На прицеле желтый брат	75
Слабый	76
Старушка	80
Русак Андропов	83
Без ремня	88

Капитан Шаповаленко	92
Дезертир	95
Глаз святого	98
Равнодушная тумбочка	101
Бывает и так	106
День конституции	107
Разные люди	111
Счастливые солдаты	114
Новый год	117
Боевой листок	120
Во время перерыва	124
Матушка-история	126
Не думать невозможно	128
О храбрости и терпении	132
Невольная память	135
Сахалинские будни	139
Суворовский натиск	144
Узкоколейка	147
Бегство в другой мир	151
С корабля на бал	154
Кто мародер?	157
В стройбате бывает по-всякому	160
Воскресник	165
Офицер Его императорского величества	169
Советский солдат-подкулачник	173
До и немного после	176
Обезличивание солдата	181
Приказ 281	183
Уступчик	186
Засада	189
Люди на привале	194
Самоволка	199
Гяур на тракторе	202

Сапер Тонкин	207
Крылатая пехота	211
Трофейщик	218
Жертва	223
Побег	227

